

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

СЕРИЯ «ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

М. А. БАРГ

## ШЕКСПИР И ИСТОРИЯ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1979

Барг М.А. Шекспир и история.—2-е изд., испр. и доп. — М.: Наука, 1979.— 216 с., ил., 0,5 ил. — (Серия «Из истории мировой культуры»).

О Шекспире написано множество книг, но его исторические воззрения не изучены еще достаточно полно. В книге сделана попытка рассмотреть взгляды великого драматурга на историю в тесной связи с научными, философскими представлениями и особенностями культуры тюдоровской эпохи. Автор на основе исторических хроник Шекспира рассматривает его взгляды на взаимоотношения человека и общества, на проблему власти и т. п.

М. А. Барг—доктор исторических наук, специалист по истории средних веков, им написаны монографии: «Исследования по истории английского феодализма в XI—XIII вв.» (М., 1962), «Народные низы в английской революции XVII в.» (М., 1967) и ряд других.

Ответственный редактор доктор филологических наук А. А. АНИКСТ

Б  $\frac{10603-046}{054(02)-79}$  48 – 79 НП 0504000000

© Издательство «Наука», 1979 г.

---

**OCR и вычитка – Aspar, 2011.**

### ОГЛАВЛЕНИЕ

**От автора**

**Введение**

**Глава I. История и драма в елизаветинской Англии**

Клио правит миром

«Драматизированная история» и историческая драма

**Глава II. Историческое время: открытие и познание**

Средневековые представления о времени

Время в сонетах

Время в хрониках

**Глава III. Мировидение Шекспира: отражение элементов стереотипа**

**мышления эпохи**

Картина мироздания

Картина общественного устройства

#### **Глава IV. Шекспир и тюдоровская историография**

Тюдоровская историографическая традиция

Исторические воззрения Шекспира

#### **Глава V. Общество, этика, политика**

Постулаты морали и аморальность действительности

Тираноборческие идеи

Аристократические верхи

Народные низы

#### **Глава VI. Хроники в зеркале истории**

Ричард III сценический

Ричард III исторический

Как возникла легенда о Ричарде III

**Заключение**

**Примечания**

**Литература**

### **ОТ АВТОРА**

Тема книги нуждается в уточнении. «Шекспир и история» может означать и место Шекспира в истории мировой культуры, и оценку его творчества в различные исторические периоды, и трактовку Шекспиром различных исторических сюжетов, и его воззрения на исторический процесс в целом (т. е. его философию истории). В данной книге рассматриваются лишь последние два аспекта. Оставаясь долгое время отдаленной «периферией» шекспироведения, Эти аспекты оказались в послевоенный период в центре внимания. Можно было бы привести внушительный список работ Шекспироведов, в том числе известных трудов советских исследователей: А. Аникста, Л. Пинского, Ю. Смирнова, М. и Д. Урновых, Ю. Шведова и др., в которых интересующая нас тема плодотворно разрабатывалась в последние годы. И тем не менее есть одна грань, которую литературоведение оставило на долю историков,— исторические хроники Шекспира как воплощение исторической мысли в Англии XVI в. Очевидно, что выяснение этого вопроса могло бы пролить свет на более широкую проблему — общее и специфическое в мировидении Шекспира. Теснейшая связь между историческим опытом и мировидением той или иной эпохи уже давно отмечена. Так, Бокль, автор известной «Истории цивилизации в Англии», в свое время заметил: «Всегда будет существовать связь между тем, как люди смотрят на прошлое, и тем, как они воспринимают настоящее». Обычно подчеркивается значение прошлого для понимания настоящего. Между тем роль настоящего в истолковании прошлого ни в коем случае не должна недооцениваться. Можно даже заметить определенную закономерность: чем больше мы отдаляемся от современного состояния исторической науки к ее истокам, тем в большей степени историческое видение ограничено «настоящим». Историческое мышление XVI в. в этом смысле особенно характерно.

Известно, что анализ мировоззренческих аспектов творчества великого драматурга — задача необычайно сложна Шекспир не был ни политическим, ни историческим мыслителем. Свое отношение к миру истории и его проблемам он выразил не в памфлетах и трактатах, а в галерее сценических образов. Сценические персонажи Шекспира принадлежали к различным историческим эпохам, населяли различные страны, наблюдали окружающий их мир то из королевского дворца, то из вросшей в землю хижины. И естественно, что каждый из них сообщает свою версию увиденного. За кем из них скрывается автор, чьими устами он говорит с потомками, и предстоит выяснить современному исследователю.

Но трудность изучения философских, исторических, политических и этических воззрений Шекспира еще не означает невозможности их изучения. Уже со времени Гердера, Гёте и Шлегеля Шекспир признан не только гениальным художником, но и великим мыслителем. Глубина проникновения в мир человеческих страстей открыла ему мир истории и политики, не омертвевший, не идеализированный, а земной — полный жизни и динамизма. Проникновение в тайну шекспировского мировидения — вечно решаемая и вечно новая задача науки.

Разумеется, в этой области советское шекспироведение накопило большой и интересный материал наблюдений и выводов. Но, поскольку здесь речь идет не об образном поэтическом ключе к решению данной проблемы, а об историко-критическом подходе к ней, то исследование еще впереди.

Популярная книга, естественно, не призвана решать такого рода задачи. Единственное, к чему автор стремился, — дать представление читателю о характере вопросов, с которыми он неизбежно столкнется, если захочет глубже вникнуть в эту проблематику, и попытаться по возможности ответить на некоторые из них.

Однако истекшие со времени первого издания годы позволили автору и в рамках данной книги уточнить ряд идей и положений, которые определяют истолкование проблемы в целом.

## ВВЕДЕНИЕ

Век XVI — век сложный и противоречивый, тем не менее он, в частности на английской почве, предстает как целостная и вполне определенная эпоха, не похожая на другие. Это эпоха тюдоровской Англии. Ее хронологические рамки — 1485—1603 гг. Понятие «тюдоровская Англия» обозначает специфическую систему экономики, власти и культуры. Ее историческое своеобразие заключалось в том, что в ней воплотился переходный период: от «старой, веселой Англии» — страны феодальной — к Англии «железного века» — стране буржуазной, капиталистической. Неудивительно, что XVI век не только унаследовал противоречия феодальной поры, но и явился свидетелем вторжения в общественную жизнь противоречий новых, еще более острых, связанных с зарождением капитализма. Последние привели к неожиданному результату: они вызвали волну «феодальной реакции». Правда, она смогла лишь на время и далеко не во всех сферах общественной жизни затормозить развитие буржуазных отношений. Тем не менее феодальная реакция XVI в. была реальностью, которую, увы, вопреки очевидности, часто «не замечают», — может быть, потому, что это была реакция особого рода, ибо она поднялась на капиталистических «дрожжах». Социальная суть ее такова: получатели феодальной ренты стремились приблизить ее движение к механизму рынка в такой же мере, в какой значительная часть денежных людей стремилась обзавестись феодального характера доходами. В результате лорды, заботившиеся прежде всего о прибыльности своих имений, превратились в тиранов по отношению к держателям их земли, а толстосумы стали приобретать за «дурно пахнувшие» деньги престижное феодальное богатство: поместья, парки, должности и т. п., а вместе с ними — дворянские титулы и привилегии. Процесс «облагораживания» верхушки городской олигархии (смешанные браки титулованных отпрысков и купеческих дочерей играли здесь немалую роль) и разбогатевших йоменов приводил к укреплению и росту дворянства. В самом деле, в 1558 г. 46% пэров Англии обладали этим титулом в первом или втором поколении, в 1628 г. они составляли 57%. Между 1574 и 1603 гг. в рыцарское достоинство было возведено 332 человека. Численность дворянства возрастала в полтора раза быстрее численности всего населения<sup>1</sup>. Естественно, что, включая в свои ряды наиболее преуспевавшие элементы третьего сословия, дворянство оказывалось самым процветающим сословием в стране. В значительной мере это процветание связано было с выгодно сложившейся для дворянства конъюнктурой рыночных цен и земельных рент. Покровительствовали ему и Тюдоры,

видевшие в неродовитом дворянстве противовес непокорной старой знати, оплот короны в борьбе с ней.

Английское общество XVI в. представляло собой пусть противоречивую, но все же некую систему, находившую выражение и в политике, и в мировоззрении, и в поведении современников. Известно, например, что в Англии XVI в. восторжествовал абсолютизм. Однако в самом этом факте нет ничего специфически английского: ведь то же самое в ту же пору наблюдалось и во Франции. Но если Франция пришла к этому, фактически уничтожив сословное представительство в лице Генеральных штатов, то в Англии та же цель была достигнута при сохранении парламента, более того — при его содействии, в сотрудничестве с ним. Другими словами, парламента — институт, призванный служить противовесом королевской воле, удерживать королевскую прерогативу в «законных рамках», — своей деятельностью узаконивал неограниченную практически власть Тюдоров. Одно это говорит о том, насколько английский абсолютизм был противоречив с «конституционной» точки зрения. О том, какие глубокие конфликты были заложены в подобной системе, свидетельствует правление первых двух Стюартов. Между тем при Тюдорах эта система функционировала в основном безотказно. В самом деле, какой же громадной властью должен был обладать Генрих VIII (1509—1547), чтобы осуществить в стране «волей парламента» реформацию церкви, присвоить себе на территории Англии высшую церковную власть, прежде принадлежавшую папе римскому, закрыть сотни монастырей, изгнать из них толпы монахов и конфисковать их громадные земельные владения.

Но вот на английском престоле оказалась дочь Генриха VIII, Мария Тюдор (1553—1558), поставившая своей целью вернуть Англию в лоно римско-католической церкви, — и парламента с таким же энтузиазмом санкционировал ее действия. Когда после смерти Марии Тюдор на Престоле оказалась Елизавета I, парламента в третий раз (менее чем за столетие) узаконил королевскую волю — изменил вероисповедание ее подданных: отныне они снова стали англиканами.

Далее. В XVI в. в Англии не только сохранялся средневековый сословный строй со строго фиксированными (вплоть до цвета и покроя одежды) правами и обязанностями отдельных сословий и рангов, но спесь и гордыня, местничество, казалось, никогда не были более вызывающими. В то же время ни в одной из европейских стран доступ в ряды знати не был более легким, чем в тюдоровской Англии. Йомен Бейлс из Чарлтона впервые появился в деревне при Генрихе VIII, во втором поколении этот род уже украсил свою фамилию припиской «джентльмен», а в 1643 г. заменил ее титулом «баронет». Йомен Томас Вент между 1543 и 1551 гг. скупил всю землю виллы Косби (более 1000 акров) и тем самым приобрел статус джентльмена. Его сын построил себе дворец, сохранившийся до сих пор. На фоне подобного восхождения по сословной лестнице йоменов уже не выглядит из ряда вон выходящим случай, когда графский титул приобрел лондонский купец и финансист Лайонел Крэнфилд<sup>2</sup>.

Ни в одной стране Европы XVI в. правосознание с такой последовательностью не фиксировало принцип «нерушимости незапамятного обычая» в регулировании земельных отношений, как в Англии. Вместе с тем нигде в это столетие поземельные отношения не переживали столь крутой ломки в рамках и на почве «незапамятного обычая». «...Нигде на свете, — пишет В. И. Ленин, цитируя К. Маркса, — капиталистическое производство ... не расправлялось так беспощадно с традиционными земледельческими порядками, нигде оно не создавало для себя таких совершенных (адекватных=идеально соответствующих) условий, нигде не подчиняло себе этих условий до такой степени. Англия в этом отношении — самая революционная страна в мире»<sup>3</sup>.

Итак, перед нами своеобразная, ни с какой другой не сравнимая эпоха в истории этой страны. В ней уходящие в прошлое, но еще очень живучие феодальные начала общественной жизни — в экономике, социальном обиходе, политике и идеологии — переплелись с началами зарождающимися, капиталистическими.

В этой живой нераздельности и вместе с тем глубокой противоречивости общества переходной поры заложены конфликты поистине трагедийного масштаба. Наиболее острым и очевидным был антагонизм классовый, социальный. Никогда прежде поляризация нищеты и роскоши не обнаруживалась столь безусловно, никогда раньше столь большие массы людей не жили систематически на грани безысходной нужды и голода, в то время как представители немногих десятков знатных родов проматывали огромные состояния<sup>4</sup>. Для сравнения можно привести следующие данные. Наемный рабочий в XVI в. мог заработать тяжелым трудом максимум 15—20 ф. ст. в год — это был жалкий прожиточный минимум рабочей семьи. В то же время средний годовой доход пэра составлял 5 тыс. ф. ст. Вот как выглядела расходная часть бюджета такого лорда за год:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Кухня и винный погреб              | 1500—2000 ф. ст. |
| Конюшня и псарня                   | 500 ф. ст.       |
| Личные расходы лорда               | 500 ф. ст.       |
| Расходы жены и других членов семьи | 1000 ф. ст.      |
| Богоугодные раздачи и милостыня    | 100 ф. ст.       |

Никогда раньше не строились и с такой роскошью не обставлялись столь обширные помещичьи усадьбы, не распространялось столь широко поветрие на чужестранные моды. Пример расточительности подавала сама королева Елизавета I. После ее смерти только за часть ее гардероба была выручена по тому времени громадная сумма — 30 тыс. ф. ст. Обжорство в среде знати являлось нормой сословного этикета. И все это — когда толпы таких же «свободнорожденных» англичан, одетых в лохмотья и вечно полуголодных, лишенных крова и источников существования, бродили по дорогам Англии в поисках хлеба и ночлега. Неудивительно, что XVI в. был отмечен в этой стране рядом крупных крестьянских восстаний и городских мятежей, начиная с так называемого «благодатного паломничества» на севере Англии (1536) и восстания Роберта Кета в Норфолке (1549) и кончая восстанием в среднеанглийских графствах (1607). Какие же нужны были мощные политические, идеологические и этические скрепы, чтобы общественный строй тюдоровской Англии мог не только функционировать, но еще и выдавать себя едва ли не за общество «всеобщего благоденствия».

Однако и в периоды затишья страна находилась в постоянном брожении. Об этом свидетельствуют печально знаменитые террористические законы против бродяг и нищих (известные как «кровавое законодательство»), каравшие за бродяжничество выжиганием клейм, забиванием в колодки, публичным бичеванием, тюрьмой и галерами, отправлявшие человека на виселицу за мелкое воровство. Раздоры, как эпидемия, охватили имущие классы<sup>5</sup>. Такова была изнанка «золотого века» Елизаветы.

Естественно, что и культура этой сложной исторической эпохи была столь же неоднозначной и глубоко противоречивой. По сути своей это была культура Возрождения. Она знаменовала, по словам Ф. Энгельса, глубочайший прогрессивный переворот — переход от культуры средневековья к раннему буржуазному просвещению. Провозглашенный ею идеал духовной свободы и автономной деятельной личности открывал пути к раскрепощению и обновлению общества: интеллектуальному, этическому и эстетическому. Это была культура, обращенная к человеку и человеческому в нем. Однако новая, гуманистическая культура должна была пробивать себе дорогу сквозь мощные пласты традиционного средневекового образа мыслей, схоластики, нетерпимости, фанатизма, невежества. Вообще распространение новой культуры, как и становление новых общественных отношений, было процессом в высшей степени сложным. Различные области духовной деятельности — не говоря уже об общественной практике — далеко не в одинаковой степени затрагивались гуманистическими тенденциями. Так, если Возрождению Англия была обязана классической эпохой своей литературы, то восторжествовавшая в 30-х годах XVI в. Реформация не в малой мере повинна в том, что отражение тех же тенденций в художественной жизни этой эпохи

оказалось здесь более проблематичным<sup>6</sup>. Точно так же, к примеру, в то время как тюдоровская историография испытала несомненное и достаточно сильное влияние гуманизма, английское право в общем сумело его избежать и т. д.

Наконец, нельзя упускать из виду, что творцы новой культуры, независимо от того, что они сами думали, принадлежали не только «новому времени», но и времени уходящему<sup>7</sup>. Восстав против строя мысли и чувств средневековья, объявив «варварскими» большинство его духовных ценностей, они, того не сознавая, разделяли многие представления и убеждения этой же эпохи. В качестве примера достаточно сослаться хотя бы на их убеждение в том, что можно совместить в единой системе воззрений античную образованность и христианскую догматику, если только средневековую теологию с помощью той же языческой образованности «очистить» и «исправить». Точно так же многие выдающиеся гуманисты лелеяли идеал новой «общественной гармонии», верили в возможность «учреждения» государства «всеобщего благоденствия», в котором сохранены феодальная собственность и сословный строй и вместе с тем народ не ведает ни произвола властей, ни опустошительных войн и разорительных налогов, ни пристрастия судов, ни вымогательства чиновников. Причем осуществление этого утопического идеала зависело от степени «просвещенности монарха» и его советников, от распространения гуманистической образованности, прежде всего среди дворянства — сословия, призванного «стоять у кормила правления»<sup>8</sup>.

Более того, даже крупнейший английский гуманист начала XVI в. Томас Мор, первый среди мыслителей Возрождения обусловивший торжество идеала общества «всеобщего благоденствия» уничтожением института частной собственности на средства производства, — даже Томас Мор какое-то время связывал надежды на «улучшения» и «реформы» с взошедшим на английский престол «просвещенным монархом» Генрихом VIII<sup>9</sup>. И хотя Генрих VIII вскоре проявил себя как коварный деспот, тем не менее Томас Мор (к немалому огорчению его друга — знаменитого гуманиста Эразма Роттердамского) согласился занять благосклонно предложенное ему место в королевском совете, а несколько лет спустя и высшую должность в стране — должность лорда-канцлера<sup>10</sup>.

По мере увядания надежд и исчезновения иллюзий раннего гуманизма все более затуманивался его социально-этический идеал. Если многие стороны средневековья казались гуманистам столь отжившими, «противными разуму», что одного их публичного осмеяния представлялось достаточно для избавления от них — ведь смех убивает, то общественные распорядки, шедшие на смену средневековью, по крайней мере в Англии, где их уже можно было разглядеть, могли породить лишь глубокий пессимизм. Одним словом, общественные условия, вызвавшие к жизни раннее Просвещение, оказались в глубоком противоречии с его идеалом «разумного» и «справедливого». К тому же подъем народных движений, открытое проявление социального недовольства низов вызывали у гуманистов страх перед выходом народных масс на арену истории. И Мор, подобно Эразму, например, выступил против лютеровской Реформации не только во имя сохранения универсализма церкви и, следовательно, верховенства папской власти, но и потому, что своей проповедью «христианской свободы» Реформация подняла крестьян против власти и собственности господ. Самодеятельность масс в глазах гуманистов выступала как разрушительное начало. Во всяком случае, между народными выступлениями и мечтой об обществе «всеобщего благоденствия» Мор не видел никакой связи<sup>11</sup>. Одно это красноречиво свидетельствует о том, сколь многозначно понятие «ренессансный гуманизм». К тому же, как и всякое историческое явление, гуманизм отнюдь не являлся чем-то однажды и навсегда данным. На смену оптимизму раннего Ренессанса пришла рассудочность зрелого Возрождения, которую вскоре сменило трагическое восприятие действительности. О подобной эволюции — в философском плане — писал Ф. Энгельс: «Это превращение в свою противоположность, это достижение в конечном счете такого пункта, который полярно противоположен исходному, составляет естественно неизбежную судьбу всех исторических движений,

участники которых имеют смутное представление о причинах и условиях их существования...»<sup>12</sup>. В плане же конкретно-историческом пределы эволюции гуманизма обозначены следующим образом: «... первая форма буржуазного просвещения, «гуманизм» XV и XVI веков, в своем дальнейшем развитии превратилась в католический иезуитизм»<sup>13</sup>. По крайней мере в Англии в начале XVII в, новый идеал человека все больше воплощался в благочестивом пуританине, суровом и мрачном «ратнике божьем» на земле, отрицавшем жизнерадостное мирозерцание гуманизма как «дьявольское искушение».

Подведем некоторые итоги. Штурм традиционного, в данном случае — феодального, миропонимания начинается задолго до штурма отжившего общественного строя. В этот период — первого столкновения двух эпох — их положение было различным: в то время как очертания капитализма были еще настолько расплывчаты, что феодальное сознание их долгое время просто не замечало (поскольку оно не воспринимало их как нечто принципиально новое), гуманистическое сознание, наоборот, уже было способно в высшей степени критически отнестись ко многим сторонам феодальной действительности. Отсюда популярность в эту эпоху образа «зеркала»: «держат перед кем-либо зеркало» — значило показать его лик, отразить его образ, суть вещей. Эту функцию «держателя зеркала» перед современным ему обществом взял на себя гуманизм (хотя, как правило, далеко не на всю глубину структуры этого общества). Иными словами, гуманизм мог выступить как интеллектуальное движение, лишенное узкоклассовой определенности (вспомним слова Энгельса: «Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными»<sup>14</sup>) в исторически строго определенный период — в течение того короткого времени (длительность его в различных странах была различной), когда между строем уходящим и строем, шедшим ему на смену, преобладание силы еще находилось на стороне первого, а идеал «разумного» и «справедливого» еще связывался со вторым, т. е. когда капиталистический уклад жизни еще оставался «вещью в себе», не раскрыл еще присущих ему противоречий.

Итак, поскольку капиталистический уклад вписывался материально и в значительной степени духовно в окружающую его действительность, постольку гуманисты могли апеллировать к общечеловеческим ценностям, т. е. могли в одно и то же время неосознанно исходить из факта своей органической причастности к феодальной действительности и вместе с тем осознанно приобретать необходимую идейную позицию для взгляда на эту действительность со стороны. С общественно-культурной точки зрения гуманизм и был той интеллектуальной предпосылкой новой системы ценностей, которая давала возможность увидеть многоликие пороки этой действительности и обрушиться на них с «общечеловеческой», «разумной» точки зрения, т. е. в конечном счете с точки зрения идеальных представлений о потребностях, возможностях и призвании абстрактного человека. В этот начальный период новой всемирно-исторической эпохи гуманисты могли быть искренне убеждены в том, что представляют интересы «общего блага» всех классов и сословий, если только все члены «государства» — сословия — осознают гуманистические ценности и положат их в основу индивидуальной и социальной этики и политики. Отсюда черты утопизма и исторического оптимизма, одновременно присущие в этот период гуманизму. По мере же раскрытия социальной сути царства капитала указанные черты гуманизма увядают, поскольку «общечеловеческая» позиция терпит крах. Наступает пора для других форм общественного сознания, а именно форм сознания собственно классового.

В качестве «разновидности» северного Возрождения английский гуманизм особенно отчетливо отразил растущий интерес к памятникам античной языческой образованности. Но связано это было прежде всего с сознанием деформированности основных этических ценностей христианства и необходимости их «исправления» и «очищения» (именно эту особенность гуманистического движения, в частности в Англии, имеют в

виду, когда обозначают его как христианский гуманизм). Хотя никто не наставлял столь абсолютно и непреходяще, как Христос, писал Эразм Роттердамский, однако и в языческих книгах содержится много такого, что находится в согласии с ним. Так думал не он один. Пользой и сокровенными нуждами «веры Христовой» оправдывалось возведение на пьедестал античных мыслителей и поэтов, юристов и историков. Убеждение в том, что величайшим из них уже приоткрылись многие из тех истин «божественных», которые только столетия спустя были услышаны «из уст Учителя», лежало в основе того удивительного синкретизма христианской догмы и языческой мудрости, который нашел свое яркое выражение в творениях таких гуманистов, как Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола, Эразм Роттердамский и Томас Мор. Подобному синкретизму в значительной мере способствовало то, что современное им общество казалось гуманистам XVI в. во многом близким к обществу античному, и выдвижение на передний план вопросов политики и права, этики и воспитания подкрепляло подобное представление.

В Англии в силу раннего и особо резкого обострения социальных противоречий обрисованный процесс был сжат во времени и деформирован. Христианско-этический гуманизм в идеологии к середине XVI в. сменился гуманизмом чисто созерцательным, академическим, аристократическим. Прогрессивная же тенденция раннего гуманизма, трансформируясь, воплотилась к концу века, с одной стороны, в новой историографии, а с другой стороны — с особой мощью — в искусстве драмы. Не случайно драма и история — эти два проявления гуманистического мировидения — оказались столь тесно связанными, что границы «жанров» на какое-то время стерлись.

## **Глава I**

### **ИСТОРИЯ И ДРАМА В ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ АНГЛИИ**

В культуре каждого более или менее завершенного исторического периода есть черты, которые ярче всего характеризуют эпоху. Поскольку речь идет об эпохе Шекспира, одной из подобных черт является искусство драмы, в частности исторической драмы, ставшей высшим историко-культурным достижением английского Возрождения. Разумеется, включая историческую драму в ряд непреходящих духовных ценностей, созданных английским Возрождением, и выделяя ее в этом ряду, мы имеем в виду ее место не только в иерархии эстетических ценностей, но и в неизмеримо более широком контексте тюдоровской эпохи.

Словосочетание «история и драма» имеет восходящую к античности традицию. Им порождены «гибридные» понятия: «историческая драма» и «драма истории». Уже в классической древности были отмечены объективная и субъективная близость истории и драмы и их различие. Творить историю — означало разыгрывать земную драму человеческой жизни. В свою очередь, театр «разыгрывал», «оживлял», «повторял» различного рода «истории». Точно так же «историописание» рассматривалось как род искусства, весьма близкий к искусству поэзии и драмы. При этом речь шла не только о близости средств выражения, но и о близости сюжетов: историки охотно прибегали к мифу и эпосу, поэты часто «драматизировали» исторические события.

#### **Клио правит миром**

В эпоху Возрождения авторитет истории был столь общепризнанным, а ее вердикты были столь непререкаемыми, что в глазах сильных мира сего история уступала разве одной лишь теологии. Придворный духовник и придворный историк в равной мере распоряжались посмертными судьбами правителей: первый — на небесах, второй — на земле.



Во всяком случае, это было время, когда история восседала на интеллектуальном троне, а стоявшие по сторонам его философия и поэзия внимали ей с благоговением. Служение истории рассматривалось как занятие в высшей степени почетное (а временами и выгодное), поскольку в этом видели проявление не только высших интеллектуальных способностей, но и гражданских доблестей. Ни раньше, ни позже с подобной оценкой роли и значения истории в европейской культуре мы не сталкиваемся.

Символически это столь высокое положение истории в духовном мире гуманистов отражено в гравюре на обложке «Всемирной истории» Уолтера Рэли (1614). История изображена в виде женщины, держащей на поднятых вверх руках земной шар: справа и слева от нее — фигуры, символизирующие атрибуты истории (истину и т. д.). Над шаром — «всевидящее око», олицетворяющее божественный промысел, воплощением которого, по мысли Рэли, история и является.

Во второй половине XVI в. резко возрастает число исторических сочинений, призванных удовлетворить широкий читательский спрос.

В 1562 г. Ричард Графтон опубликовал «Сокращение английских хроник» — компиляцию, не очень отличавшуюся от средневековых прототипов. В 1565 г. вышла хроника Джона Стау, одна из тех «историй», которые магистрами искусств пренебрежительно именовались «ремесленными», однако популярность ее была столь велика, что в 1611 г. потребовалось десятое издание. В 1577 г. появилась многотомная компиляция «Хроники Англии, Шотландии и Ирландии», составленная Рафаэлем Холиншедом и рядом других лиц. В 1587 г. понадобилось ее второе издание.

Читательским интересом к историческим повествованиям воспользовались и поэты. У. Болдуин и другие в 1559 г. опубликовали историко-дидактический поэтический сборник «Зерцало для правителей», в 1587 г. вышло его шестое издание, значительно дополненное и расширенное. Уильям Уорнер между 1586 и 1612 гг. издал 16 книг поэтической истории Англии под названием «Англия Альбиона», а Сэмюэль Даниель, следуя его примеру, выпустил между 1595 и 1601 гг. шесть стихотворных книг, излагавших историю войны Роз.

Это далеко не полный перечень сочинений на исторические темы в Англии XVI в. Можно упомянуть еще и многочисленные переводы античных историков, публикации по истории стран Европы, описания древностей на территории Англии и многие другие повествования, в названия которых включалось столь притягательное слово «история».

Тот же живой интерес к истории в значительной мере обусловил расцвет английской исторической драмы, кульминация которого совпала с последним десятилетием XVI и самым началом XVII в.

Из дошедших до нас 56 исторических драм (изданных между 1519 и 1603 гг.) 36 были опубликованы в последние 15 лет XVI в.<sup>1</sup> Особой популярностью пользовались драмы на сюжеты английской истории. Естественно, что выбор падал на моменты, отличавшиеся глубоким драматизмом, на периоды общенациональных политических кризисов. Так, были опубликованы две драмы, посвященные Ричарду II, три — Ричарду III, три — Иоанну Безземельному и т. д.

Панегириками по адресу истории, на различный лад повторявшими и «развивавшими» определение Цицерона («учительница жизни»), можно было бы заполнить объемистый фолиант. Какими только достоинствами ее не наделяли! Из многочисленных образцов подобной риторики приведем самый краткий: история — это «эссенция разума, сливки опыта, сок мудрости, сердцевина рассудка, библиотека знаний, ядро политики, разоблачительница скрытого, календарь времени, светильник истины, жизнь Памяти...»<sup>2</sup>.

Практическая, прикладная польза истории в представлении современников Шекспира поистине не знала себе равных. Если суммировать многочисленные суждения на эту тему, то окажется, что история является вернейшим средством для решения самых различных общественно-политических и моральных проблем современности, необ-

ходимейшим руководством в повседневной жизни как общества в целом, так и отдельно взятого человека.

В истории увидели школу политики, сокровищницу опыта, ведущего к открытию универсальных принципов власти, суверенитета, управления, ничем не заменимую школу морали, житейской мудрости и дальновидности. «На примерах прошлого,— читаем мы в предисловия Ж. Амио к переводу «Жизнеописаний» Плутарха,— [история] учит нас [здорово] судить о вещах настоящего и предвидеть будущее с тем, чтобы мы могли знать, чего желать и чему следовать, что отвергать и чего избегать»<sup>3</sup>. Таким образом, заключает он, историки «полезнее философов», поскольку они не только утверждают, но и «иллюстрируют» свои положения «соответствующим течением событий», они лучше поэтов, ибо при всех преувеличениях всегда основываются на истине.

Вообще надежды на практическую полезность исторических знаний были столь велики, что в них усматривали чуть ли не предпосылку человеческого счастья. «История наставляет, как жить благополучно и счастливо, поэтому знания ее в равной мере нужны и правителю и подданному, особенно же они важны для того, кто стоит у кормила правления стран и народов»<sup>4</sup>.

«Что может быть более приятного или полезного, чем наблюдать — как будто мы сидим в театре — драму человеческой жизни... чем приобретать знания и мудрость, изучая судьбы других и при этом не подвергая себя какой-либо опасности»<sup>5</sup>.

Каковы же были объективные причины этого очевидного поворота общественного сознания к «картинам прошлого», к «человеческой драме», ставшей историей? Исходной и всеопределяющей предпосылкой указанного поворота был переломный, кризисный характер века, наложение на противоречия, подрывавшие старый порядок, противоречий, привнесенных в общество процессом так называемого первоначального накопления и генезиса капитализма. Один за другим в стране вспыхивали острейшие социальные конфликты. И хотя они могли резко различаться по своим масштабам и по своим декларированным целям, все они отражали смену времен, смену исторических эпох. Поскольку происходившее не имело ни объяснения, ни оправдания в традиционной системе ценностей, современникам в поисках умственной и моральной опоры ничего другого не оставалось, как только, разумеется в рамках дидактического истолкования сюжета, обращаться к урокам истории, к примерам. В этом заключалось одно из проявлений давно замеченной закономерности: историческое сознание изначально являлось и долго оставалось функцией сознания трагедийного<sup>6</sup>. В период крутых поворотов в судьбах народов общественное сознание постоянно обращается к опыту прошлого — безразлично к собственному или чужому, Ж истории не только как к источнику надежды и мужества, но и как к кладезю «мыслительного материала» для объяснения происходящего и «предсказания» грядущего. Муза истории, подобно сове Минервы, вылетала в полночь. Больше всего ей внимали в годину бедствий. Однако, для того чтобы голос ее был услышан, она должна была вещать правду.

В этом заключалось важнейшее требование к историописанию с момента его зарождения. История и истина — не два понятия, а единое. Но что же на том уровне исторических знаний, при тех возможностях их добывать, а главное при тех философско-исторических воззрениях на суть и характер исторического процесса преподносилось читателю под именем «история», т. е. правда?

Историю чаще всего писали с «умыслом», имея в виду злободневные интересы династии, стремления правителей, распри знати — одним словом, «запросы» могущественных покровителей. Естественно, что историографы, еще не очень искусные, временами просто «проецировали» на прошлое свои собственные сословные, групповые, династические «привязанности», религиозные убеждения и национальные предубеждения, выдавая их за уроки «чистой истины», «голой правды», «правдивейшее свидетельство» прошлого и т. п.

Так, одно из определений идеала истории — «lux veritatis» (свет истины) — долго еще служило прикрытием весьма неприглядной практики хронистов и историков, служивших отнюдь не идеалу. Достаточно сослаться на знаменитую «Историю Ричарда III» Томаса Мора — сочинение столь же тенденциозное, сколь и талантливое, которое, независимо от намерений самого Мора, стало одним из источников тюдоровского династического исторического мифа, или же на «историографическую судьбу» короля Иоанна Безземельного, превратившегося под пером протестантских историков из ничтожного правителя (каким его знала католическая традиция, отразившаяся в средневековых хрониках) в «мужественного» борца против папской тирании и «защитника независимости Англии».

Эталоном подобной «принципиальности» историографа Возрождения может послужить хронист XV в. Джон Гардинг. Первую версию своей «Хроники» он создал в середине века, проявив в ней явное пристрастие к правящей династии Ланкастеров, что и нашло отражение в посвящении ее королю Генриху VI. Однако, как только чаша весов в борьбе между Ланкастерами и Йорками заколебалась, он приступил немедленно к сочинению второй версии своей «Хроники», теперь уже писавшейся в угоду Ричарду, герцогу Йоркскому. Естественно, что освещение событий в новой версии «Хроники» стало «Йоркским». После гибели Ричарда Гардинг, все еще выживавший, посвятил «Хронику» его сыну королю Эдуарду IV. Жаль только, что, не дожив до битвы при Босворте, автор не смог отреагировать на воцарение Генриха VII.

Однако тенденции «истины угодной» уже противостояла тенденция противоположная — «истины нелицеприятной», включавшей элементы критики источников. На английской почве обе эти тенденции проявились в труде Полидора Вергилия, родом итальянца, прибывшего в Англию по делам папы и получившего от Генриха VII поручение написать историю Англии, разумеется, в духе, угодном тюдоровским династическим интересам.

Полидор Вергилий выполнил королевскую волю только наполовину: изложив в протюдоровском свете предысторию и историю войны Роз, он в то же время поставил под сомнение всю средневековую историографическую традицию, связанную с королем Артуром. Гуманист отказался следовать фантазиям средневековой «Хроники» Джеффри Монмутского. «Лишить историю правды,— писал известный знаток английских древностей В. Кемден,— равнозначно удалению глаз у прекраснейшего создания в мире, все равно что вместо вина предложить чашу с ядом»<sup>7</sup>.

Моральный вес и убеждающую силу аргумента «от истории» столь же высоко ценили и преемники Генриха VII. Именно поэтому досмотр за книгами по истории был строжайший. С 1599 г. их цензура была возложена на Тайный совет. О том, что это значило, можно судить по письму епископа Лондонского лорду Сесилю (27 сентября 1597 г.): «Этим препровождаю Вам историю, автор [которой] не папист и пишет более достойно о королеве и ее действиях, чем кто-либо из чужеземцев... Тем не менее в ней имеются места, которые лучше опустить, к примеру на стр. 473 — содержание буллы Сикста VI против королев...»<sup>8</sup>.

К чему приводило явно преувеличенное представление о власти истории над умами подданных, свидетельствует так называемое «дело Джона Хейуорда», брошенного на два года в Тауэр (1599—1601) за публикацию «Первой части жизни и правления Генриха IV» (1599) с посвящением графу Эссексу (вскоре неудачно попытавшемуся поднять мятеж против королевы Елизаветы). И хотя Хейуорд на дознаниях всячески подчеркивал, что в книге речь идет только о прошлом, знаменитый юрист Кок, ведший расследование, указал ему на возможность прямых аналогий между королевой Елизаветой и низложенным Ричардом II. Хейуорда, между прочим, спросили, каким образом он получил доступ к бумагам Генриха IV, цитируемым в книге, тем самым намекнув на возможную прямую связь историографа с заговорщиками и, следовательно, на то, что книга была напечатана по их «прямому заказу».

Между тем властям предрержавшим угодно было, чтобы история «воспитывала гражданственность», «учила порядку». О том, насколько современники были убеждены в важности подобных функций, свидетельствует памфлет «Тревога Англии» (1578), принадлежавший перу Барнабы Рича. Автор усмотрел причину частых восстаний и беспорядков в Ирландии в «дороговизне исторических книг», из-за чего «ирландцы лишены одного из величайших благ... ибо нет ничего более приятного, полезного и необходимого для человека, чем книги, в которых описываются обычаи, условия доброго правительства, советы и дела каждого государства, манеры, поведение и способ жизни каждого народа... знание которых черпается главным образом из книг по истории»<sup>9</sup>.

В XVI в. могущество «музы истории» равным образом ценили «столпы общества» и третье сословие. Для первых история наряду с законоведением была важным сословно-консолидирующим фактором: «родовое право» дворян было «историческим правом». Неудивительно, что «исторические знания» рассматривались как необходимая предпосылка изучения всех других наук и искусств, как важное условие укрепления владельческого титула и нерушимости сословных привилегий. Одним словом, в подготовке дворянина к «обязанностям» магистра истории отводилась роль своего рода обязательной нравоучительной и политической пропедевтики. Джентльмен мог мало смыслить в всех других науках, но его грядущая карьера члена парламента (а последний заполнялся дворянами на девять десятых), т. е. карьера оратора, советника иди мировое судьи, требовала хотя бы самых общих знаний по истории в ней он находил нужные прецеденты, примеры, поступки, изречения и даже законченные «речи» публично-правового характера.

Недаром Г. Пичэм, автор руководства под название: «Совершенный джентльмен» (1622), писал: «Не будьте чужестранцами в истории собственной страны. Ни один из предметов не доставляет нам большего удовольствия, чем история, запечатлевшая в нашей памяти тысячи форм, обстоятельств места, времени, личности и обычаев...». Благодаря истории мы «получаем возможность сделаться: мудрыми на примерах тех, кто ступил на стезю ошибок и опасностей до нас»<sup>10</sup>.

Что же касается так называемого «среднего класса», т. е. тех преимущественно городских слоев, в недрах которых формировалась буржуазия, то и он в полной мере оценил образовательное и воспитательное значение истории как вернейшего средства для приобщения к политическому опыту правящего класса, как лучшей школы гражданственности, индивидуального и сословного воспитания. Даже пуритане, с подозрением относившиеся к чтению поэзии, считавшие театр фривольным, «греховным» развлечением, явно поощряли в своих домах чтение истории — занятие «в высшей степени полезное». Проиллюстрируем интерес среднего класса к истории на примере Лондона. Два лондонца: Ричард Графтон, бакалейщик и печатник, и Джон Стау, торговец готовым платьем, — были наиболее популярными хронистами своего времени.

«Краткое изложение английских хроник» Стау, впервые изданное в 1565 г., переиздавалось в 1566, 1567, 1570, 1573, 1574, 1575, 1587, 1590, 1598, 1604, 1607, 1610, 1618 гг. Его более пространная хроника Англии (1580) к 1631 г. переиздавалась восемь раз, Сам Стау в 1604 г, в посвящении мэру и олдерменам Лондона так объяснял популярность истории в среде бюргеров: «Среди других книг, которые в нагл ученый век публикуются в большом числе, имеется мало таких, которые по достоинству содержания или пользе, приносимой общему благу, можно было бы предпочесть хроникам и историям»<sup>11</sup>. И это было мнением не только Стау. Доказательство тому — преподавание истории в городских школах, наличие в Лондоне находившегося на содержании города «хронолога», в обязанности которого входило собирать и записывать все достопамятные события в столице. Одно время эту должность занимал Бен Джонсон.

Очевидно, что для верхнего слоя бюргеров знание истории, как и образование в целом, являлось средством социального возвышения и «облагораживания». В низших слоях горожан тот же интерес был поистине бескорыстным. Здесь упор делался на

самообразование — домашнее чтение. Отсюда необычайная популярность всякого рода «руководств», «сокращений» и «извлечений» — вплоть до карманных сборников изречений, предназначенных для «украшения беседы». Фактом, значение которого трудно переоценить, является распространение дешевых исторических изданий, доступных даже ремесленным ученикам. И хотя строгие пуритане с подозрением и осуждением относились к чрезмерному поклонению «великому идолу», именуемому образованием, для истории делалось исключение, поскольку от нее ожидали наставления в благочестии<sup>12</sup>.

Наконец, среди факторов, объективно содействовавших формированию в Англии XVI в. интереса к истории, нельзя умолчать о Реформации. Известно, что все выступления против универсализма римско-католической церкви оправдывались «схизматиками» тем, что та полностью отошла от заветов раннего христианства, извратила и затмила «ясный свет слова божия». Очевидно, что декларируемая реформаторами цель — вернуть церковь к раннехристианскому идеалу — должна была пробудить Жгучий интерес к истории вообще и к истории церкви в особенности. Сказанное полностью приложимо и к английской Реформации. Ее вдохновители и проводники в 30-х годах XVI в. обратились именно к истории, чтобы оправдать свой разрыв с Римом. По образному выражению современного исследователя, «история и традиция превратились в стратегические высоты», овладеть которыми с одинаковым рвением пытались интеллектуальные лидеры враждующих партий. И чем ожесточеннее становилась борьба, тем очевиднее возрастала роль исторического оружия<sup>13</sup>.

Выдающееся положение истории в культуре английского Возрождения было обусловлено определенной фазой процесса формирования национального самосознания широчайших масс народа. Хотя этот процесс благодаря стечению ряда обстоятельств начался в Англии сравнительно рано, чему в немалой степени содействовало соперничество со времени Генриха II Плантагенета двух корон — английской и французской, столкновения с Шотландией, экспансия в Ирландию и др., завершился он, по сути, только в XVI в. Этот факт нашел разностороннее отражение — и в создании мифа о национально-британском характере правящей династии Тюдоров, и в успехе дела церковной реформации, хотя и начатой королем, но поддержанной большинством населения страны, в глазах которого папство уже давно олицетворяло чуждую, иноземную власть, к тому же выкачивавшую из страны немалые средства, и в торжестве английского языка не только над латынью — в богослужении, но и над французским в королевской канцелярии, в обиходе придворных и в аристократических кругах. Расцвет англоязычной литературы в XVI в. — наиболее яркое свидетельство интенсивности прослеживаемого нами историко-культурного процесса. Историография являлась, естественно, «жанром» литературы, благодатным инструментом шлифовки речевой культуры, терминологического обогащения языка и т. п. Однако, помимо лингвистической функции, исторические сочинения были не менее важным инструментом национально-психологического и патриотического воспитания читателя. Спрос и предложение на историческую книгу, как мы видели, стали расти задолго до эпопеи «Великой армады». Естественно, что «чудесное» спасение Англии от испанского нашествия еще более обострило интерес самых широких масс к историческим судьбам родины. Воистину история стала — наряду с церковью — пастырем детей Альбиона.

### **«Драматизированная история» и историческая драма**

Пребывание истории на интеллектуальном Олимпе вызвало отрицательную реакцию среди служителей других муз, и прежде всего муз поэзии. Право Клио на столь выдающееся положение стало шумно оспариваться. Реакция исходила из двух противоположных лагерей. С одной стороны, родилась и набирала силу новая опытная наука. С ее точки зрения, выраженной в XVII в. наиболее отчетливо Декартом, история

вообще являлась не наукой, а родом литературы. С другой стороны, свой голос подняла поэзия, отрицавшая мнение, будто история и есть олицетворение высокого искусства. Первый литературный и отнюдь не дружеский шарж (скорее карикатуру) на историка создал выступивший в защиту поэзии известный английский гуманист Филипп Сидней.

В обществе, писал он, историк — человек «напыщенный и самоуверенный», а на деле — «затхлый педант», нагруженный древними, изъеденными мышами свитками, знания которого могут вызвать разве что удивление недорослей. Чрезмерное самомнение превращает его в тирана во время застольной беседы. Он и слышать не хочет о том, что кто-то может сравниться с ним в преподавании уроков добродетели и благородных поступков; его хвастливая эрудиция основана на плагиате и на столь прочном фундаменте, как «слышал» — «видел». Его уроки добродетели обесцениваются его собственной позицией, ибо он прикован к тому, что было, вместо того чтобы подчеркивать, что должно было быть. Другими словами, историк — раб частичной истины и не способен доискиваться универсальной сути вещей. И как вывод: знания историка не могут иметь моральной силы.

Отвлечемся от преувеличений, частных, наконец, от словесной формы — перед нами сатира! И тем не менее Сидней затронул самые основы древнего спора между историей и поэзией, историей и философией, историей и драмой<sup>14</sup>.

Как известно, вопреки тенденции им и его единомышленниками выраженной, английское Возрождение завершило спор тем, что поставило на службу истории и Поэзию и драму. В 1591 г. один из критиков (Флорио) заметил, что ни одна из современных ему драм, поставленных на английской сцене, не является «ни истинной комедией... ни настоящей трагедией... а представляет инсценировки истории без дальнейших прикрас»<sup>15</sup>. И именно Френсис Бэкон в начале XVII в. заключил, что «поэзия... есть не что иное, как вымышленная история»<sup>16</sup>. В конечном счете представление об истории как предмете, как области знаний отступило на задний план перед новыми и более глубокими суждениями о ней — как о способе мыслить, способе видеть и изображать действительность. Начал формироваться взгляд на историю как на общенаучный принцип. Однако завершиться этому процессу суждено было лишь три с лишним столетия спустя.

Между тем разгоревшийся на рубеже XVI и XVII вв. спор о соотношении истории и поэзии имел уже к тому времени долгую историю. Его истоки уводят нас в Древнюю Грецию, подарившую миру не только Гомера, великих драматургов, но и первых крупных историков — Геродота и Фукидида. Древнегреческая мысль, начав со взгляда на историю как на род искусства (отсюда муза Клио), завершила исследование интересующего нас вопроса полным противопоставлением истории и поэзии, истории и драмы, делая ударение на принципиальном их различии. В итоге сравнения наибольший урон понесла история.

Оксфордский словарь английского языка знает девять значений слова «история». Основное из них восходит к греческому *ιστορία*, что значит «расследование», «исследование», «узнавание», «установление». «Исторический метод» «отца истории» Геродота в наиболее достоверной части его труда, как известно, сводился к опросу очевидцев событий, его интересовавших, т. е. к своего рода «расследованию» того, «как все на самом деле было». Другими словами, понятие «история» раскрывалось как эмпирическое исследование былого, установление подлинных фактов, событий, случившегося. В результате «история» отождествлялась с методом и целью работы историка, т. е. со способом узнавания. Из этой смысловой грани термина исходил Аристотель, когда определял различия между историком и поэтом. В своей «Поэтике» он усмотрел их не в том, что один пишет прозой, а другой — стихами. Можно переложить сочинение Геродота стихами, но оно и после этого останется родом истории. Различие заключается в том, что один описывает вещи, которые «действительно были», а другой — те, которые «могла быть»; один рассматривает «то, что действительно случилось», а другой — что в той же ситуации может случиться. Из этого Аристотель заключал: поэзия — в определенном смысле более философская и более возвышенная область знания, чем

история. Поскольку первая интересуется вечным, ее утверждения имеют форму универсалий, утверждения же истории ограничены временными рамками и носят поэтому частный характер. Если, продолжает Аристотель, поэт пишет о вещах, действительно имевших место (как это делает историк), он тем не менее остается поэтом, ибо события, действительно происшедшие, могут случиться и в будущем, т. е. в этом контексте вымысел столь же правдив, как и истина. Итак, по Аристотелю, истинность вымысла бесконечно ценнее (познавательной) истины действительной, исторической<sup>17</sup>.

Что же касается различия между историей и драмой, то оно, по мнению Аристотеля, заключается в том, что драма базируется на сюжетном единстве и завершенности действия, история же имеет дело с серией разрозненных действий, сведенных воедино только рамками периода, независимо от того, завершены они или нет в указанных рамках. Другими словами, различие сводится к противопоставлению сюжетного единства хронологической общности.

Трагедия имитирует действия людей, история устанавливает факты. Цель трагедии пробудить страх и сострадание, и для достижения этого она изображает неожиданные смены фортуны, история же не преследует подобных целей. В итоге, если отвлечься от других черт, составляющих специфику драмы, в основе всех противопоставлений Аристотеля останется главное — различие между фактом и вымыслом (хотя, как мы видели, факт может приобрести всеобщность вымысла, но для этого он должен оказаться в контексте поэзии)<sup>18</sup>.

Прежде всего, нельзя не заметить, что Аристотеля больше занимал вопрос, чем поэзия (включая драму) отличается от истории, нежели вопрос противоположный — чем история отличается от драмы. Точно так же мы мало что узнаем из его определений о целях истории. Однако и то немногое, что удается в этом плане выяснить, позволяет заключить, что Аристотель обосновывал не «художественную», а «научную» концепцию истории, т. е. истории как науки эмпирического факта, точно засвидетельствованного и правдиво описанного. Тем самым историку запрещалось сознательно преследовать цель эмоционального воздействия на читателя. Последнее должно всецело зависеть не от «искусства» историка, а от характера сообщаемых им фактов. Точно так же историк не «строит сюжет» — он ему задан содержанием былого. Словом, ориентация истории на фактическую сторону сообщаемого, пусть истина будет ограниченной, частичной, специфической, но фактически точной, — такова, как представляется Аристотелю, квинтэссенция истории<sup>19</sup>.

Однако, независимо от субъективных намерений, именно Аристотель не только не возвел барьеров между историей и поэзией, но поистине обосновал возможность их тесного «сотрудничества», более того, «творческого обмена» материалом и приемами его обработки. В самом деле, если истина вымысла есть истина более высокого порядка в сравнении с правдой эмпирического факта, то почему бы историку — поскольку он стремится к эмоциональному «потрясению» читателя — не прибегнуть к приемам трагедии, пусть даже и придется при этом отклониться от «частичной правды» факта во имя истины более высокой — «правды вымысла»? Путь к ней был намечен самим Аристотелем: следует только «правду факта» вставить в поэтический «контекст». В свою очередь, и поэзии временами излишне «сочинять»: в истории много событий, напоминающих «готовую драму», которая только и дожидается перенесения на сцену.

Разумеется, тенденция к отклонению от правды былого в интересах занятости исторического повествования древнее Аристотеля. Свидетельством может служить тот факт, что мифология и эпос долгие столетия питали и будоражили воображение не только поэтов и драматургов, но и историков, для которых множество сюжетов, заимствованных из этой поэтической сокровищницы народа, являлись «фактами», драгоценными слитками «истины».

И разве не о силе этой тенденции свидетельствует вошедшее в широкую практику, в особенности со времени Фукидида, сочинение историками «речей», будто бы про-

изнесенных в свое время (точнее, таких, которые могли бы быть произнесены в данных обстоятельствах) героями, «объяснявшими» таким образом свои намерения, поступки.

В этом смысле попытка Аристотеля расчленив «предметную» область и приемы историографического и поэтического творчества может служить лишь свидетельством того, насколько сильна была тенденция к их смешению. И именно ей принадлежало будущее. Искусство занимательного рассказа оттеснило на долгие века проблему предметности, его фактической достоверности. В противовес Аристотелю Исократ прямо объявил историю риторикой. Эту тенденцию унаследовала и римская историография. Ко времени заимствования ею самого термина «история» его аристотелевский смысл был уже утрачен. Теперь слово относилось не к способу узнавания, а к узнаванному и обозначало уже рассказ о событиях прошлого, т. е. центр тяжести был перенесен с исследования былого на повествование о нем. Вскоре «историей» называли уже всякий рассказ о любом случае, происшествии, действительном или вымышленном (в духе нынешнего «попал в историю», «интересная история» и т. п.).

Цицерон, хорошо знавший греческую традицию, оперирует понятием «история» и в аристотелевском и в новом смысле. Он вслед за Аристотелем считает истину факта, ее установление первой заповедью историка. В диалоге «О законах» мы читаем: «Квинт. По твоему мнению, в историческом повествовании следует соблюдать одни законы, в поэзии — другие? Марк. Разумеется, Квинт! Ведь в первом все направлено на то, чтобы сообщить правду, во втором большая часть — на то, чтобы доставить людям удовольствие. (Кое-кто... поступает неразумно [требуя] истины от меня не как от поэта, а как от свидетеля...)»<sup>20</sup>. В данном случае Цицерон добросовестно изложил Аристотеля. Но далее он сделал любопытное наблюдение, свидетельствующее о том, насколько действительность античной историографии была далека от этого идеала. Впрочем, читаем мы, «и Геродот, отец истории, и Феопомп приводят бесчисленное множество сказаний...»<sup>21</sup>.

Таким образом, отличить вымысел от того, что действительно произошло, в «историях» становилось все труднее. Все превращалось в одинаковой степени в «предание». А в предании чем занятнее фабула, тем интереснее читателю. В том же диалоге «О законах» Цицерон высказывается за то, чтобы историю писали поэты.

«Аттик (обращаясь к поэту Марку). Тебя уже давно просят, вернее, от тебя требуют исторического повествования; ведь люди думают, что если таким повествованием займешься ты, то мы также и в этом отношении нисколько не уступим Греции... Ты же, конечно, можешь преуспеть в этом, так как (и ты сам склонен так думать) этот труд — более всех других подходящий для оратора»<sup>22</sup>. Но как же сочетать первую заповедь истории с искусством «волновать» читателя? Выход Цицерон видел в следующем. Он проводил различие между «всеобщей» (связной) историей, в которой вещи выступают в связи, соизмеримыми друг с другом, и «частичной» (монографической) историей, в которой освещается какой-нибудь один изолированный эпизод. В первом случае историк следует хронологии, его цель — истина и польза, во втором случае задача более сродни поэзии и на первый план выдвигается удовольствие. Цицерон сравнивает «частичную» историю с драмой. Обилие фактов в связной истории мешает историку обращаться к эмоциям; чтобы пробудить чувства, следует сосредоточиться на единичном явлении. Тогда обнаруживается, что в нем заключена целая драма, ибо она состоит из «различных актов» и «многих действий». Отправляясь от этих посылок, Цицерон просил Луция, писавшего историю гражданских войн, чтобы он написал историю его (Цицерона) консульства раньше, чем дойдет до этого эпизода во «всеобщей истории». В данном случае следовало бы пренебречь законами исторической правды, не боясь несколько приукрасить героя (Цицерона), чтобы прославить его больше, чем это позволила бы сделать «связная» история<sup>23</sup>.

Знаменитый ритор Квинтилиан разрабатывает уже последовательно «риторическую» точку зрения на предмет истории. Он пишет: «...история имеет



определенную близость к поэзии и может рассматриваться как род поэмы в прозе, когда она пишется с целью повествования, а не доказательства и предназначена от начала и до конца... не для моментальных нужд... а для описания событий для пользы потомков». Он различает три рода повествования: 1) вымышленное (каким оно предстает в поэмах и трагедиях), 2) реалистическое (каким оно предстает в комедиях), 3) историческое (в котором излагается действительный ход вещей)<sup>24</sup>.

Итак, перед нами завершенная концепция истории как рода литературы в противовес истории как точному описанию фактов. Подобно риторике, история может «обращаться к чувствам» и тем самым служить эффективным орудием привлечения интереса и направления воли.

Вопрос о различиях между законами драмы и законами историописания, столь затемнившийся к концу античности, снова всплыл на поверхность в эпоху Возрождения. На первый взгляд все повторилось сначала. С одной стороны, мы сталкиваемся со строгими предписаниями идеала гуманистической историографии, с ее требованиями истины факта, а с другой стороны — с широкой историографической практикой, которая по самым различным мотивам — от подобоострастия перед властью имущими вплоть до стремления, как мы бы теперь сказали, к «читательскому успеху» — сплошь и рядом предаёт «идеалы» забвению, нарушает элементарные «требования жанра» настолько, что все грани исчезают. Поэзия становится формой историописания, история превращается в род поэзии.

Если попытаться вкратце суммировать суждения гуманистов о специфике истории, ее роли в современной им культуре, то они сводятся к следующему.

История — род литературы, специальная функция которой заключается в установлении и фиксации истины. Историк от других писателей отличается глубокой приверженностью к фактам. В известном смысле установление последних — его специальное общественное призвание. «Высокое призвание историка,— писал хронист Томас Купер,— состоит в том, чтобы исправить искажения и увертки ограниченных людей с тем, чтобы высказать нелицеприятную истину»<sup>25</sup>. И хотя никто из гуманистов не пытался определить более точно, что именно нужно понимать под истиной, все они на разные лады повторяли слова Цицерона: «История — свет истины». Так появился третий смысл термина «история». Он нацеливал внимание не на исследование, не на рассказ, а на объект изучения — на «события» прошлого (мы говорим: «изучение истории»), т. е. исторической действительности. Этот поворот исторической мысли Возрождения в сторону истинности фактического содержания исторического повествования имел глубочайший смысл. Прежде всего в нем скрывалось требование подвергнуть критике всю средневековую традицию, «погрязшую в невежестве и заблуждениях», разоблачить все сознательные и неосознанные подлоги в документах, на которых основывалась эта традиция. Следовательно, на этот раз — в отличие от концепции Аристотеля — речь шла не только о разграничении «повествования вымысла» и «повествования факта», но и об очищении историографической традиции от нагромождений мифов, в нее внедрившихся в течение «тысячелетнего среднего века». Один из наиболее известных исторических мыслителей Возрождения, Жан Боден, называет тех читателей «тупыми», которые обращаются к историческим сочинениям в поисках «литературных эффектов», вместо того чтобы доискиваться истины. Что же касается историков, то Боден замечает: «Я пришел к заключению, что практически невозможно для человека, который пишет, чтобы доставлять удовольствие, соблюсти также истину вещей — это черта, на которую указывали Фукидид, Плутарх и Диодор и отсутствие которой критиковали у Геродота. Я удивляюсь тому, что Цицерон называет его отцом истории, в то время как вся древность обвиняет его в недовольности»<sup>26</sup>. Без утверждения истинности факта история не могла реализовать свое подлинное призвание, как оно было сформулировано в предисловии Симона Гринеуса «Относительно пользы чтения истории», предпосланном латинскому изданию римского историка I в. до н. э. Трога Помпея (1538): недостаточно знать то, что

было и о чем сообщено в хрониках. Основной интерес историографа — истолкование событий прошлого. В этом должна состоять и цель читателя. Из такого понимания призвания истории родилось второе требование к историку — быть свободным от греха «предвзятости и предубеждения».

Возвращение гуманистов к проблеме истины в истории и выдвинутое ими требование к историкам — не ограничивать свою задачу сообщением фактов, но и давать им надлежащее толкование (что означало необходимость перейти от «универсального» объяснения истории «промыслом всевышнего» к объяснению ее рациональными причинами) диктовались возложенными теперь на историописание двумя «общественно-полезными» функциями: 1) служить школой морали и 2) служить школой политики. Нетрудно обнаружить, что оба эти суждения основывались на сугубо неисторическом понимании «природы человека», равно как и «природы государства». Поскольку Возрождение исходило из того, что индивидуальная психология и этика — индивидуальные «пороки» и «достоинства» людей (в особенности стоящих у кормила власти) — объясняют не только общественные нравы и мораль данной эпохи, но и характер функционирования «политического организма» — государства, и поскольку, далее, «природа» человека неизменна, то столь же неизменны, постоянно повторяются те социальные и политические последствия «страстей», которые обусловлены этой «природой». «Честолюбие Цезаря», «пьянство Тиберия», «гордость Калигулы», «жестокость Нерона» и т. д. и т. п. — таковы важнейшие факторы истории соответствующих периодов. Отсюда делался вывод, что история содержит «коллекцию» примеров («история — это философия, наставляющая на примерах»), пригодных на вечные времена для объяснения причин и следствий всех возможных социальных и политических ситуаций, всех возможных человеческих поступков, действий, поскольку вечны и повторяются страсти, склонности, пристрастия правителей. Эта истина формулировалась следующим образом: «В будущем ничто не может произойти сверх того, что есть и что в значительной мере уже имело место в прошлом».

Но прежде чем учить морали других, историк должен проявить собственную честность и правдивость. Точно так же, прежде чем извлекать из истории уроки политической мудрости, воплощенной в опыте знаменитых людей, читатель должен быть уверен, что «примеры» прошлого описаны с максимальной объективностью (т. е. точностью).

Таким образом, между требованием исторической истины и дидактической функцией истории, как ее усвоило общественное сознание эпохи Возрождения, существовала теснейшая связь. То обстоятельство, что от истории ждали практических наставлений — уроков личного и публичного поведения в самых различных человеческих ситуациях, как нельзя лучше объясняет возврат историографии к идеалу исторической истины.

Правда, общность идеала еще не гарантировала единства мнений о наиболее верном пути, ведущем к нему. Его и не было. В то время как одни историки считали, что сама история дает готовые «образцы» и «уроки» и задача историка сводится к тому только, чтобы в точности их описать, ничего «от себя» не прибавляя, другие считали, что «уроки» должен извлекать сам историк, задача которого объяснить, интерпретировать прошлое, т. е. превратить его в урок. Первые составляли большинство. Их слишком узкое понимание «правды» вызывало иронию таких людей, как Филипп Сидней или Джон Донн, прозававших историков «охотниками за фактами», полностью сосредоточенными на выяснении того, «что Цезарь делал», «что Цицерон говорила, но никогда не постигающими «высшую сферу духа», где скрыт смысл всех вещей. Такого рода стрелы мало задевали адресатов. Известный своим трудолюбием и стремлением быть объективным историк Реформации Иоанн Слейдан заявлял: «Правда и беспристрастность... два наиболее желательных украшения истории... С этой целью я ничего не принимал по предположению, догадке или легковесному сообщению, а старательно

собирали все, что сообщено в публичных архивах и бумагах, надежность которых никем не может быть доставлена под сомнение»<sup>27</sup>.

Для этих историков, таким образом, «писать историю» — значило «служить у алтаря истины». Френсис Бэкон говорил принцу Карлу Стюарту о своей «истории» короля Генриха VII: «Я не льстил ему, «вдохнул в него жизнь настолько хорошо, как сумел, отстоя столь далеко от него и лишенный лучшего света»<sup>28</sup> (т. е. свидетельств). Томас Гоббс в конце 20-х годов XVII в. высмеивал историков, которые отвлекаются по ходу рассказа для того, чтобы порассуждать по поводу тайных целей и внутренних побуждений людей, о чьих делах они рассказывают, и все это с целью «прочитать лекцию» на моральную или политическую тему.

С другой стороны, Бэкон с сарказмом относился к историкам, способным только беспорядочно приводить факты, «теряющим» себя и своих читателей в «мельчайших частностях», и заключал: «Среди всех писаний людей нет ничего более редкого, чем истинная и совершенная гражданская история»<sup>29</sup>.

Два препятствия стояли на пути к возобладанию фактографического понимания смысла исторической истины. Первое, и, несомненно, наиболее весомое, — интересы власть имущих, олицетворяемые карающей рукой государства. Второе — слабость документальной и фактической базы тогдашней истории, равно как и смутное сознание, что истина не дана в готовом виде в «фактах», что ее нужно самому из них извлекать, т. е. что она зависит в значительной мере от «искусства» историка «сочленять факты».

Прямой противоположностью фактографической тенденции в ренессансной историографии являлись устремления ее «интерпретативного течения», наиболее выдающимися представителями которого были в XVI в. Никколо Макиавелли и Жан Боден. Именно это течение выразило то качественно новое, что отличало историческое мышление Возрождения от исторического мышления античности.

В самом деле, древние греки, столь приверженные идее строгой упорядоченности окружающего человека мира, начисто отказывали временным (т. е. историческим) событиям в чем-либо подобном. Это было поразительно неисторическое (антиисторическое) суждение об объективном процессе истории. Последний рисовался им неким хаотическим нагромождением случайностей наподобие чередования случайностей в жизни отдельного человека. Отсюда акцент на упорядочивающей роли самой процедуры исследования.

Осознание истории как рассказа о былом уже свидетельствовало о формировании некоего представления об определенной упорядоченности сферы социального времени: ведь нельзя же осмыслить бессмысленное. Само наличие рассказа говорило о наличии объективного смысла в содержании рассказанного, т. е. косвенно признавало наличие определенных регулярностей в сфере событий.

Наконец, в XVI в. неявное стало явным: социальное время сознавалось как содержащее объективный смысл, который и следует открыть.

В «интерпретативном течении» гуманистической историографии на первый план выдвинулся содержательный план истории. В отличие от средневековой историографии, для которой человеческий элемент истории был всецело оттеснен и подавлен внешним, событийным рядом, олицетворявшим для нее силы надчеловеческие, цепь вторжений божественного провидения, гуманистическая историография рассматривала историю как серию человеческих поступков, действий, т. е. волевых актов действующих лиц, предполагавших сознательный выбор, решение как предпосылку действий. Субъективный элемент истории, «драма героев» — вот что заполнило весь передний план событийного. До осознания диалектики субъективного и объективного в истории было еще далеко. Причину события искали в характере, личности, морали и т. д. деятеля. «Почему Цезарь перешел Рубикон?», «Почему Брут заколол Цезаря?» — на то и другое должны ответить мотивы, характер, страсти, склонности каждого из них. Для этой цели сочинялись речи героев, собирались свидетельства приближенных, очевидцев и т. д. Отсюда следовало, что

интерпретировать историю — значит попытаться восстановить умственную и душевную драму героев, исторические характеры. Если история дает возможность извлечь полезные уроки, то лишь потому, что «модели поведения» действующих лиц в прошлом исчерпывают все возможное в этом смысле в будущем. Постоянство причин позволяет предсказывать результат.

В самом деле, почему Макиавелли избрал первые десять книг Ливия<sup>30</sup> в качестве основания для «политических рассуждений»? Оказывается, потому, что он в древности увидел вещи, «полезные» для современности; чтобы извлечь пользу для государей, их воспитателей и граждан, он восстанавливает древние образцы в управлении государством, ведении войн и т. д.

Перенесение внимания на субъективную сторону исторического процесса и превращение духовных и моральных начал в детерминанту истории очень сблизил искусство историописания с искусством драмы. Как и драма, интерпретативная историография Возрождения интересовалась событиями не столько как объективными фактами, сколько как следствиями характеров, идей, чувств, поступков. Как и драма, эта историография стремилась открыть скрытый смысл в потоке событий. С другой стороны, очевидно, что драма, основывавшаяся на подобных принципах, усваивала «историческое видение» мира независимо от того, брала ли она сюжет из прошлого народных легенд и преданий или прошлого, исторически более или менее документированного.

Водораздел проходил не между вымыслом и исторической истиной, а между сюжетом, имевшим — по представлениям той поры — дидактическую, морализаторскую ценность, и сюжетом, лишенным таковой.

Итак, драматург и историк в то время решали задачу если не тождественную, то, во всяком случае, очень близкую. Помимо указывавшихся уже причин огромной популярности и притягательной силы исторических сюжетов, сближению историографических и драматургических задач содействовали: объективно — само содержание понятия «история» в истолковании современников Шекспира, арсенал «фактов», воспринимавшихся в качестве «исторических», и субъективно — специфика тюдоровского историописания. В первом случае, как уже отмечалось, речь идет о том, что рамки «исторического» были в ту эпоху столь широки, что включали мощный пласт эпических легенд, исторических преданий и поэзию, т. е. благодатнейший материал для драматизации «исторических сюжетов». Во втором случае — о распространившихся в тюдоровской Англии гуманистических принципах и приемах историописания. Тогдашняя историография плохо различала, а точнее, совсем не различала частную и публичную стороны жизни стоявших у кормила власти фамилий. В результате государственная жизнь изображалась преимущественно в «лицах», исторические события приобретали смысл, только будучи рассматриваемы сквозь призму «биографии», т. е. будучи персонифицированы. Мор, Полидор Вергилий и Холл выступили в Англии истинными зачинателями «драматизированной» истории, продемонстрировав, каким образом исторические события могут быть обработаны в драматической форме. Однако, помимо выявления драматизма, скрытого в историческом сюжете, эти историки — в рассматриваемом плане — совершили и нечто более важное — поставили «государственное» поведение «героев» в связь с индивидуальной моралью. Тем самым события государственной жизни были подняты до высоты трагедии. Но, поставив проблему моральной ответственности исторической личности, тюдоровская историография вплотную приблизилась к функциям «исторической драмы» — «держат зеркало» постулатов индивидуальной морали «перед ликом» героев, определявших эпоху.

Словом, и для историков-гуманистов XVI в., и для Драматургов того времени, обращавшихся к «историческим» сюжетам, история приобретала смысл только как Драма, поскольку лишь события, рассматриваемые как единство духовного и физического действия, делали для них мир понятным и поучительным. Отсюда общность цели: «оживить» прошлое, «вдохнуть жизнь в героев», заставить их на страницах «истории» или

на сцене разыгрывать перед читателем и зрителем уже сыгранную однажды в «действительности» роль, а аудиторию — пережить, почувствовать их драму, «рассудить» и «перерешить» «человеческие» ситуации прошлого.

Поистине драма как бы продолжала работу историка, связывая хронологически; разрозненные «живые» картины, им «заготовленные», в сюжетное целое по законам драмы. Чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить образец гуманистической историографии в Англии «Историю Ричарда III» Томаса Мора и «Ричарда III» Шекспира. Известно, что Мор же занимался специальными розысками документов. В отличие от Вергилия, ему достаточно было известий современных хронистов и рассказов очевидцев. И это неудивительно: ведь он стремился создать не событийную историю этого периода, а то, что мы теперь назвали бы психологическим и моральным портретом Ричарда III. Достигалось это обрисовкой «типа поведения» этого антигероя в различных «общественных» и «личных» ситуациях. Низменность натуры, проявлявшаяся в низменности всех его замыслов, целей и поступков, должна была подвести читателя к мысли о глубине несчастья подданных, оказавшихся под властью честолюбивого и кровавого злодея. Перед нами, следовательно, такая степень драматизации истории, которая содержала в полуготовом виде структуру соответствующей исторической драмы. Достаточно заметить, что без малого треть объема «Истории Ричарда III» Мора занимают диалоги. Сочиненные Мором по античным образцам речи действующих лиц с замечательной силой раскрывают диалектику «внешнего» и «внутреннего» человека, этической нормы и диктата честолюбия. Наконец, Морю не было чуждо стремление вызвать у читателя дрожь. Кого, к примеру, могли оставить равнодушными речь архиепископа, обращенная к вдовствующей королеве, матери малолетних наследных принцев, с увещанием отдать младшего сына в руки «протектора» Глостера, замыслившего убийство своих венценосных племянников (старший из них — наследный принц Эдуард — уже находился в его руках), или причитания матери, предчувствовавшей необъятную меру надвигавшегося несчастья.

Хотя и с гораздо меньшим искусством, этот тип исторического письма использовался и позднейшими английскими историками. Можно понять елизаветинских драматургов, буквально охотившихся за историческими текстами, в которых содержались зримые контуры будущих драм. Именно поэтому тюдоровские хроники (в частности, Холла и Холиншеда) стали источниками исторических хроник Шекспира. Вообще популярность хроник среди драматургов была столь велика (а свобода обращения с их содержанием была обычно столь вызывающей), что, когда в начале XVII в. наметился явный упадок исторической драмы в связи с кризисом английского Возрождения в целом, стали громко раздаваться критические голоса, направленные против разыгрывания истории на сцене. «Историческая драма — глупая затея, зрители знают сюжет до того, как увидят его на сцене, поэтому им нередко стыдно, когда они узнают, какие вставки актеры делают в историю и как сильно ее портят... Если «история» слишком длинна для пьесы, они ее укорачивают, если она слишком коротка, они расширяют ее с помощью многих басен, и все равно, длинны они или коротки, актеры портят их, вводя шута и его болтовню»<sup>31</sup>.

Если верить автору этих строк, то переделка хроника в пьесу — задача совершенно пустячная. И это говорит не столько о специфике драматургии, сколько о специфике тюдоровской историографии. В свою очередь, блюстители чистоты поэзии смотрели свысока на таких поэтов, как Драйтон, Даниэль и даже Мильтон, обращавшихся к историческим сюжетам. Приводилось суждение Тассо, согласно которому воображение столь существенно для высших форм искусства, что каждый ограниченно приверженный истине должен быть лишен звания поэта и рассматриваться как простой историк.

История и драма в елизаветинской Англии так тесно переплетались, что жанр того или иного сочинения на исторический сюжет устанавливался подчас только на основе формальных различий: наличие или отсутствие списков действующих лиц, разбивки

материала на акты и сцены и т. д. «Историями» именовалась вся литература, посвященная легендарным периодам истории и созданным воображением «героям». В своей массе елизаветинцам чужда была сама проблема исторической истинности сюжета.

Как известно, и Шекспир в поисках сюжета для драмы нередко обращался к историческим преданиям и легендам, почерпнутым прежде всего из хроник Холиншеда. Однако не «Король Лир», не «Макбет», не «Цимбелин», а драмы на сюжеты документированной истории Англии были включены в первое собрание его пьес (1623) под общим названием «Истории». В период между 1590 и 1599 гг. Шекспир создал девять пьес на сюжеты новой (для его времени) истории Англии (десятую пьесу этого цикла — «Генрих VIII» — он написал в 1612 г.). Широко пользуясь столь характерной для елизаветинской исторической драмы свободой обращения с историческими фактами, если этого требовали интересы сценичности, Шекспир, однако, в одном важном, пожалуй решающем, отношении отступил от практики своих современников — собратьев по ремеслу. Достаточно хотя бы сравнить с этой точки зрения драму Роберта Грина «Альфонс Арагонский» и исторические хроники Шекспира. Грин препарировал историю своеобразно: остановив свое внимание на реальной исторической личности, он включал ее во всякого рода вымышленные романтические приключения, не считаясь с действительной историей этой личности.

Метод драматизации истории, воплощенный в хрониках Шекспира, в корне отличен. На первый взгляд может показаться, что и Шекспир во имя большей театральности дает волю воображению: омолаживает одних героев и старит других, переставляет во времени события, вводит в драматическое действие не только вымышленных лиц (правда, второстепенных), но и души умерших, прибегает к знамениям, пророчествам, сновидениям и т. п. Однако эти эффекты никогда не затрагивают основной канвы исторических событий, как она рисовалась современной ему историографии, они не только не затуманивают общепризнанного в последней смысла этих событий или обрисовку характеров, а, напротив, содействуют их наиболее полному выявлению. С этой точки зрения хроники Шекспира нередко более историчны, чем источники, из которых почерпнуты их сюжеты. Сосредоточив свое внимание на проблеме государства, Шекспир поставил ее в тесную связь с проблемой личности государя, «здоровье» государственного «организма» — с моральным обликом государя и его приближенных. Однако, чтобы «переложить» материал исторических хроник на язык драмы, придать ему театральную форму, этого еще было недостаточно. От драматурга требовалось создать фабулу из хаоса деталей, т. е. отобрать моменты, организующие, связывающие все в единое целое, а для этого необходимо было обладать в определенной степени самостоятельным взглядом на историю данного периода, на причинно-следственную связь событий, на уроки истории. Нет оснований считать, что все это Шекспир в готовом виде почерпнул из источников. Поскольку тенденция тюдоровской историографии не являлась в этом плане однозначной, Шекспиру приходилось выбирать, совмещать противоречивые приемы «исторического объяснения»: рациональный и эмоциональный факторы человеческой природы, вмешательство сил сверхъестественных и т. д. Так или иначе Шекспир воссоздал средствами драматургии историю Англии почти за целое столетие — с конца XIV в. до конца XV в. (не считая драм «Король Иоанн Безземельный» и «Генрих VIII», первая из которых как бы является введением в нее, а вторая — заключением).

Итак, восемь из десяти шекспировских пьес («хроник») на темы английской истории воссоздают драму власти и ее носителей и — хотя и в меньшей степени — драму целого народа в период превращения Англии феодально-монархической в Англию «ренессансную» — тюдоровскую, абсолютистскую. Известно, что порядок создания Шекспиром исторических хроник не совпадает с хронологией драматизированных в них событий. Так, посвятив первые три пьесы времени правления Генриха VI (1422—1461), а четвертую — истории Ричарда III (составившие вместе так называемую первую тетралогию), Шекспир затем обратился к началу этого периода, т. е. ко времени правления

Ричарда II, Генриха IV и Генриха V, создав четыре пьесы («Генрих IV» — в двух частях), составившие так называемую вторую тетралогию.

Многолетней дискуссии на тему о том, как создавались хроники — по единому плану или благодаря успеху у зрителей первых опытов, суждено, по-видимому, остаться открытой. И хотя сторонники каждой из указанных точек зрения могут привести аргументы в свою пользу, предпочтительной все же представляется, как всегда в таких случаях, некая средняя позиция.

Конечно, о «плане» Шекспира мы ничего не знаем; несомненно, однако, что между хрониками существует связь, которая позволяет рассматривать их как единое целое. Прежде всего бросается в глаза наличие внутренней связи с трилогией «Генрих VI», равно как и связей внешних, идущих в противоположных направлениях. В первой части «Генриха VI» мы узнаем о событиях, предшествовавших смерти Генриха V, в третьей и заключительной ее части предвосхищается драма о Ричарде III. Еще более очевидной является связь пьес второй тетралогии: Генрих IV выведен в «Ричарде II» под именем Болингброка, и, наконец, пьеса о Генрихе V объявлена в эпилоге второй части «Генриха IV». И тем не менее вряд ли, взявшись за первую хронику, Шекспир знал уже, как и чем он закончит последнюю. Мы не сделаем таким образом большой ошибки, допустив, что «план» свершения столь грандиозного замысла складывался у Шекспира постепенно, а органические связи, объединяющие все хроники в единый эпос, обусловлены интуицией гения, схватывающей частное в его связях с целым, улавливающей вехи на пути, по которому в случае надобности следовало бы идти. Однако по мере продвижения по нему степень осознанности «плана» целого возросла: три заключительные пьесы (так называемая «Генриада») свидетельствуют уже бесспорно о едином замысле, хотя и они, как мы увидим ниже, написаны в различном ключе.

## Глава II

### ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ: ОТКРЫТИЕ И ПОЗНАНИЕ

Время — понятие многозначное. Наряду с философским, физическим и другими его значениями оно имеет и смысл исторический. Время в качестве важнейшего критерия исторической ориентации человека (и общества в целом), его фундаментальной этической ценности и, наконец, способа рассмотрения объективной реальности вообще и общественных явлений в частности, т. е. рассмотрения их с точки зрения изменений, развития, стало восприниматься сравнительно недавно — в эпоху Возрождения<sup>1</sup>.

Формирование такого понимания смысла категория времени имеет две особенности: во-первых, произошло это не сразу, а в течение нескольких столетий (принцип историзма окончательно восторжествовал только в XIX в.) и, во-вторых, наиболее ощутимый вклад в разработку этой проблемы (поскольку речь идет о периоде Возрождения) внесли не столько «профессиональные» историки и философы, сколько такие титаны литературы этого периода, как Петрарка, Рабле и Шекспир. И хотя хронологически Шекспир стоит в этом ряду последним, значение его творчества в повороте европейской культуры к проблеме историзма столь велико, что оно заслуживает специального рассмотрения.

Если даже отвлечься от присущей гению Шекспира глубины и многосторонности мировидения, он, как автор. Целых циклов исторических драм, острее других воспринимал значение времени в судьбах народов и государств, равно как и отдельных исторических личностей. Хотя бы поэтому он должен был самым непосредственным образом решать задачи художественного исследования исторического времени.

#### Средневековые представления о времени

В той или иной степени время всегда было элементом человеческого сознания. Человек средневековья воспринимал время как бы в двойном измерении <sup>2</sup>: естественном и историческом, т. е. как течение круговое (циклическое) и линейное (развернутое). В первом случае представление о времени отражало родовой и — сквозь его призму — непосредственный индивидуальный опыт, во втором случае перед нами представление, привнесенное в средневековое сознание христианством. Однако в обоих случаях картина мира, рисовавшаяся ему, была по сути насквозь статической и лишь внешне подвижной. Первое из указанных представлений может быть названо натуралистическим, в нем отразилась вся мера слитности средневекового человека с природой, естественной связанности его сознания родовыми узлами, обусловленности образом жизни, спецификой материального производства.

Средневековое общество — в основе своей земледельческое общество. Смена времен года не только диктовала земледельцу характер и ритм его труда, но и формировала многие стороны его мировидения. В этом видении время представляло собой круговорот и измерялось естественными циклами: движением небесных светил, числом снятых урожаев, сменой поколений в роду и т. д., отсчитывалось «вехами», хранившимися в памяти, т. е. метрикой больших делений. Когда же памяти не хватало, оставалось определение — «с незапамятных времен».

Ощущение естественной размеренности бытия великолепно передано Шекспиром в драме «Генрих VI» <sup>3</sup>.

...Мнится мне, счастливый жребий —  
 Быть бедным деревенским пастухом,  
 Сидеть, как я сейчас, на бугорке  
 И наблюдать .....  
 Уж столько дней, как в тягости овечки,  
 Чрез столько-то недель ягниться им;  
 Чрез столько лет я буду стричь ягнят.  
 Так дни, недели, месяцы и годы  
 Текли бы к predetermined цели,  
 Ведя к могиле седину мою.

*«Генрих VI», ч. III, II, 5\**

(\* Здесь и далее римской цифрой обозначается акт, арабской — сцена. Пьесы цитируются в переводах Е. Бируковой, Т. Гнедич, Ю. Корнеева, М. Кузмина, А. Курашовой, П. Мелковой, Вл. Морица, Б. Пастернака, А. Радловой.)

Согласимся, что с точки зрения современных стандартов средневековье проявляло потрясающее безразличие к фактору времени. Это было обусловлено рядом причин. Прежде всего человек той поры отнюдь не сознавал себя в качестве индивида, противостоящего времени «один на один». Наоборот, как член более или менее обширной естественной общности (родовой, племенной) он рассматривал время сквозь призму «коллективного сознания».

Примитивное сознание — сознание синтетическое. Вместо расчленения окружающей действительности на начала природы и человека оно отражает их в нерасторжимом единстве; вместо различения моментов времени в порядке их следования: прошлое, настоящее, будущее — оно охватывает их, по сути, как одновременные. Человек с подобным видением мира окружен прошлым, оно продолжается в настоящем, а будущее — это то же «вчера», но которое наступит «завтра». И в самом деле, если порядок и характер событий твердо фиксирован, то законом жизни становится неизменность. Связь человека с родом столь велика, что смерть, исчезновение одного из членов такой группы не очень занимает остальных. Главному — существованию группы как целостности — это событие не угрожает: уход одного из ее членов восполнится рождением нового, функции умершего возьмет на себя юноша, прошедший обряд инициации. Таким образом, смена



отдельных членов общности, весьма напоминая ему смену и обновление в природе, не угрожала устойчивости и преемственности общности. Последняя в его сознании как бы приподнималась над временем.

Уверенность в нерушимости и неизменности существующего порядка вещей в общности порождала то созерцательно-отстраненное отношение к течению времени, которым были обусловлены многие черты средневековой культуры.

Второе из упомянутых выше средневековых представлений о времени формировалось под влиянием христианской традиции. Это было время календарное, счетное; точкой отсчета для него служило «рождество Христово». От этого провиденциального и вселенского события время отсчитывалось в прошлое — вплоть до «сотворения мира» и в будущее — вплоть до его конца («светопреставления»). Содержание христианской категории времени может быть раскрыто только в сопоставлении с его антиподом — вечностью. Время олицетворяется зыбким, преходящим, вечность же — неизменным, первое господствует только в «царстве земном», второе олицетворяет «царство небесное». И хотя эти два «царства» разделены пространственно, очевидно, что первое выступает по отношению ко второму, как относительное к абсолюту.

Человек, «низвергнутый» после грехопадения в царство времени, вместе с тем не отторгался и от царства вечности. Результат подобного раздвоения сознания мог быть лишь один: там, где вечность выступает «эталоном» для времени, там время наполняется чисто негативным содержанием<sup>4</sup>. В самом деле, церковное летосчисление лишало человека исторической ретроспективы (сводя ее к нескольким тысячелетиям от «сотворения мира»), равно как и перспективы, напоминая верующим о близости «конца времен». Время христианского мифа — это, по сути, краткий промежуток, заключенный между двумя сферами вечности: «от грехопадения», с одной стороны, и «до светопреставления» — с другой. Это было время линейное, время как необратимое следование событий (столько-то лет от «сотворения мира», до или после «рождества Христова» и т.д.). Однако за фасадом линейного времени при ближайшем рассмотрении снова обнаруживалось время цикличное. Цикл — символ постоянства в текущем, возвращения к себе, соединения конца с началом. Сила этой тенденции в средневековом восприятии времени была столь велика, что ее не сумело преодолеть и христианское мировидение. В самом деле, подчеркивая, что вместе с христианством в европейской культуре восторжествовало линейное время, не следует упускать из виду, что это время имело своим центром уникальный, существенный и всеопределяющий факт: рождение, жизнь и смерть Христа, в котором заложены и начало времен (поскольку вся предшествующая ему история — с момента грехопадения — была лишь его предвосхищением) и конец его (поскольку он антиципирован обещанным «вторым пришествием» Христа). Но если история от начала до конца дана в едином и единственном событии, то она может свестись лишь к постепенному раскрытию заложенного в нем сверхъестественного, мистического содержания. Итак, история — это драма с известным началом и известным концом. Ее разворачивание оказывается линейным только потому, что она укладывается в один цикл, в круг, выпрямленный в линию.

Наиболее яркое выражение это нашло в идее «мировых монархий» (ассиро-вавилонская, персидская, греческая и римская). Хотя эти монархий следовали во времени одна за другой, история каждой из них представляла собой замкнутый круг, в котором повторялись одни и те же стадии: становление, расцвет, упадок и гибель. Эпохи не соединялись между собой продолжающейся историей: каждая приходила к концу, следующая начинала с начала. В итоге суть линейного движения сводилась к круговороту. Время оказывалось разрезанным на различной длины отрезки, каждый из которых неизменно превращался в круг.

Под влиянием христианства чисто негативным содержанием наполнялось и индивидуальное человеческое время. Христианство игнорировало эту проблему точно так же, как не замечало ее и родовое сознание. Христианин воспринимал акт божественного творения как однократный и непрерывный. Ощущение причастности к бесконечному поэтому полностью исключало интерес к конечному, к отдельным моментам индивидуального бытия. Индивидуальное бытие — ничто, прах. Правда, это относилось только к одной части человеческого «я» — плоти, олицетворению порчи, греха, которая рассматривалась как основное препятствие для другой — духовной — части «я» на пути к богу.

Движение двух частей человеческого «я» — физической и духовной — рисовалось христианину противоположно направленным: первая двигалась в ничто, в небытие, вторая стремилась к совершенству, полноте, освобождающей от времени. Очевидно, что достижение последней, благостной цели диктовало этику, полностью пренебрегавшую фактором времени. Ее требования: «жить вне времени», не замечать его отдельных моментов, оставаться глухим к его велениям, единственно стремясь в шуме окружающей жизни услышать голос вечности. Ощущая себя со всех сторон «осажденным» временем, христианин испытывал постоянный страх: как бы последнее не завладело его помыслами и желаниями, не «захватило его душу». Вот почему, решая проблему времени, этика христианства предпочитала, попросту говоря, закрыть времени доступ в мир чувств и помыслов верующего.

Таким образом, именно христианство в действительности игнорировало подлинную суть проблемы времени для человека, включенного в его поток. Дуализм между бессмертием души и смертностью плоти христианство представило как дуализм двух миров — земного и небесного. Яркой иллюстрацией этого является система образов, в которых средневековые воплощало человеческое существование: в первом из этих миров жизнь — трудная, полная; опасностей дорога, человек — паломник, по ней бредущий<sup>5</sup>. Ему не только безразличны картины природы, открывающиеся по сторонам дороги, они враждебны ему. Его взор устремлен только вперед, к миру за пределами времени, и занимает его лишь длина пути: лучше, чтобы он был покороче. В этом случае меньшим был бы груз грехов, ближе идеал святости. Естественно, что восприятие времени средневековым человеком оставляло его полностью равнодушным к столь жгучей в новое время проблеме, как «трата времени». Время, эта высшая для нас, экзистенциальная ценность, в его глазах было лишено всякой ценности.

Было бы, однако, ошибочным не замечать того факта, что представление о времени, сформировавшееся под влиянием христианства, являлось важным шагом на пути к открытию исторического времени. Восприятие времени в христианстве отличалось от натуралистического (циклического), равным образом и от античного, как абсолютной текучести (времени симметрического). В христианской традиции время рисовалось однонаправленным, целевым, накапливающимся. В этом представлении были заложены познавательные возможности, раскрытые лишь в эпоху Возрождения.

Расцвет городов в странах Европы, и прежде всего в Италии, в XII—XVI вв. потребовал пересмотра традиционных представлений о времени. Бюргерство благодаря неземледельческим занятиям, с одной стороны, вырвалось: из заколдованного круга циклического времени, а с другой — не могло мириться с негативным отношением к фактору времени, проповедовавшимся церковью. Для бюргера с его предприимчивостью церковный календарь и монастырский устав явно не годились. Неудивительно, что именно в сознании бюргера время стало позитивной ценностью, которой следовало как можно разумнее распорядиться.

Уже в XII в. город перешел к точному измерению времени механическими часами. Открытие часового механизма Энгельс отметил как одну из вех на пути к современной цивилизации<sup>6</sup>.

Часы устанавливаются в центре города — обычно на башне ратуши. Отныне их бой становится регулятором делового ритма города. Даже невозможно представить себе, насколько от этого новшества ускорился темп жизни, стал более напряженным день горожанина. Поистине это была великая школа этического перевоспитания, в основе которого лежал фактор времени. По крайней мере, всем, кто стремился преуспеть в чем-либо, пришлось научиться считать часы и минуты.

Сколько их (минут.— *М. В.*) составят целый час,  
И сколько взять часов, чтоб вышел целый день,  
И сколько дней вмещается в году,  
И сколько лет жить смертному дано.  
А, сосчитав, я разделил бы время...

*Там же*

Счет времени породил острое ощущение его урезанности. Разумеется, тот факт, что одни эпохи более восприимчивы к течению времени, чем другие, обусловлен характером каждой из них. Очевидно, что эпохи бурных перемен, глубоких общественных кризисов и эпохи «мирного» развития, внешне незаметной эволюции будут сосредоточены на противоположных сторонах общественной жизни: первые на ее изменчивости, непостоянстве, на власти времени, вторые — на неизменном, пребывающем, преемственном вопреки времени. Точно так же по-разному будут ощущать и оценивать фактор времени, к примеру, периоды преимущественно эстетического отношения к произведениям рук человеческих и периоды преимущественно количественной оценки его результатов.

Естественно, бюргерство первым включилось в борьбу за наиболее «разумное» и деловое использование времени. Это новое сознание драгоценности безвозвратно уходящих минут было следствием (и в значительной мере условием) освобождения личности от пут патриархальной связанности, превращения ее в личность, полагающуюся прежде всею на собственные силы и смело вступающую в поединок с временем. Красноречивым свидетельством наступившего перелома в отношении к фактору времени может служить книга изречений флорентинца Паоло ди Чертальдо, известная под названием «Книга о хороших обычаях» (XIV в.). Чертальдо осмотрителен, умерен, благоразумен, отдает себе отчет в том, что житейские условия «хрупки». Но именно сознание этого толкает его на неустанное преследование земных целей, заключающихся для бюргера в накоплении богатства. Приведем некоторые из содержащихся в книге наставлений: «Кто слишком долго спит — теряет время»; «Кто желает поест теперь, должен подумать об этом раньше»; «Предвидение высоко ценится, беспечность мало. Поэтому всегда будь предусмотрительным»; «Помни, что время упущенное нельзя вернуть»; «Будь тщательным и бережливым во всех своих делах»; «Остерегайся лени, как самого дьявола или любого другого врага, если желаешь добиться успеха»; «Всегда трудись, чтобы получить выгоду. Ты не знаешь, сколько тебе дано жить, равно как и не знаешь своей судьбы»<sup>7</sup>.

Не будет преувеличением сказать, что все содержание этой книги сводится к практическим выводам (для бюргера), сделанным на основе открытия индивидуального времени. Так на смену средневековому «изобилию» времени, впечатлению о его «мучительной медлительности» пришло осознание его «краткости», его быстроты и неуловимости, а потому необходимости успеть извлечь максимальную пользу в «отпущенное» человеку время. На смену средневековому путнику, отрешившемуся от всего земного, пришел Улисс, охваченный ненасытным интересом именно ко всему земному, жадной знаний и открытий, стремлением полностью воспользоваться «столь мимолетной бодростью наших чувств».

В новой перспективе время стало означать движение, обнаружение скрытого, возможность свершения, поле деятельности, на котором человек, вопреки собственной

смертности, способен раскрыть свою духовную сущность и обрести бессмертие, поскольку творец как жизненная сила пребывает в человеке.

Итак, вместо того чтобы рассматривать время как цепь злоключений и страданий, этот индивидуум стал рассматривать его как цепь возможностей, предоставленных ему для достижения успеха. О некоторых из них мы узнаем из ранней пьесы Шекспира «Бесплодные усилия любви» (I, 1):

Пусть будет слава, наша цель при жизни,  
В надгробьях наших жить, давая нам  
Благообразье в безобразье смерти.  
У времени прожорливого можно  
Купить ценой усилий долгих честь,  
Которая косу его притупит  
И даст нам вечность целую в удел.

Земной славы и чести нельзя достичь, уйдя в мир фантомов, путь к ним лежит через саму жизнь. Человек остается в потоке времени (другого ведь выхода у него нет), но преодолевает его с помощью средств, предоставленных временем, и сил, заложенных в нем.

Неудивительно, что вместе с новым восприятием времени родились новые представления о ценности человека.

В XIV—XV вв. наряду с традиционным средневековым представлением о времени как иерархии бытия, как иносказании христианского мифа формируется новое представление о нем как олицетворении изменчивости как таковой<sup>8</sup>. В этом новом видении бог больше не рисуется потусторонним «гарантом» неизменности «творения». Наоборот, создатель — это преобразующая и одухотворяющая сила, раскрывающая себя в процессе вечного становления. Но тем самым царство времени больше не может рассматриваться в качестве низшего вида бытия. Бытие во времени отныне олицетворяет бытие божье в творении. В результате время начинает олицетворять изменчивость. От человека требуется деятельность, в которой он, вопреки своей смертности, может раскрыть свою причастность к вечному, обрести бессмертие. Связанный со всеми эпохами, духовный обладатель исторического, равно как и пространственного универсума, человек чувствует себя творцом. Он испытывает полную уверенность в пребывающей в нем творческой способности, реализация которой единственно возможна во времени и с помощью времени<sup>9</sup>. Так время было отождествлено с выражением полноты бытия. Другими словами, время было наделено одним из важнейших атрибутов, который в прошлом относился лишь к царству вечности. Два обстоятельства особенно содействовали широкому распространению этого представления о времени: 1) все более близкое знакомство с античностью и 2) великие географические открытия. То, что европеец в обоих случаях узнавал, было удивительным и «непохожим» на окружающее. Сама собой возникла настоятельная потребность в сравнениях и сопоставлениях: «наши нравы — их нравы», «современность — древность». Нет сомнения, что чтение древних авторов, равно как и рассказы мореплавателей, явилось для европейских народов незаменимой школой историзма<sup>10</sup>.

### **Время в сонетах**

В словаре Шекспира «time» (время) — термин в высшей степени многозначный, это — и абстрактное выражение феномена времени и данный конкретный момент времени, это и следование во времени и течение его самого. Однако чаще всего «time» — понятие, объединяющее в себе и время и пространство. Так, когда мы говорим «время Грозного», мы сознаем, что речь идет и о стране, которой он правил, другими словами, в этом понятии время и пространство выражены в их неразложимом единстве, в котором

смысл одного прозревается в очертаниях другого: пространственное олицетворение времени, равно как и временное обозначение пространства. Время — это и внешнее событие и внутреннее его переживание, все содержание сознания. Тем самым время предстает как содержательная форма сущего: мировой порядок вообще, или определенным образом упорядоченный мир. Время, следовательно, и предпосылка данного действия, длительность действия, это — род сцены, на которой происходит действие, его фон и, что важнее всего,— характер самого действия. Сложнейший комплекс переживаний, связанных с осознанием индивидуального характера времени, никто в искусстве Возрождения не выразил ярче и сильнее, чем Шекспир в своих сонетах. Время — постоянная и многосторонне развиваемая тема сонетов.

В сонетах время представлено прежде всего как факт субъективного человеческого существования, требующий не объяснения, а принятия. Как сила, находящаяся вне человека, но грозящая ему физическим уничтожением, время строго регламентирует его состояние, его возможности. Мимолетная юность, миг расцвета и пора увядания, смерть. Время — универсальное условие человеческой жизни, чисто физических ее рамок, оно ставит перед человеком задачу, решать которую приходится каждому: каким должен быть достойный человека ответ на вызов времени? Ответ Шекспира, который нетрудно найти прежде всего в его сонетах, недвусмыслен: человек не должен отворачиваться от лика времени, обращая свои взоры к небесам, а должен устремиться к бесконечному, заключенному в самом времени,— доблести, достоинству, творчеству, любви. Изменчивость — этот символ времени предстает в сонетах не в виде ряда положенных застывших и поэтому обособленных картин, а как нечто преходящее, как едва уловимые переходы.

Бег времени для поэта безостановочен и необратим.

Как движется к земле морской прибой,  
 Так и ряды бессчетные минут,  
 Сменяя предыдущие собой,  
 Поочередно к вечности бегут \*  
 (\* Сонеты цитируются в переводах С. Я. Маршака.)

*Сонет 60*

С одной стороны, время материализуется: все, что создано природой и человеком, есть «овеществленное» время. С другой стороны, все земное «осаждается» временем, оно рушит скалы, не говоря уже о рукотворной «бронзе статуй и колонн». Перед потоком времени ничто не может устоять.

Мы видели, как времени рука  
 Срывает все, во что рядится время,  
 Как сносят башню гордую века  
 И рушит медь тысячелетий бремя.  
 Как пядь за пядью у прибрежных стран  
 Захватывает землю зыбь морская,  
 Меж тем как суша грабит океан,  
 Расход приходом мощным покрывая.  
 Как пробегает дней круговорот  
 И королевства близятся к распаду...

*Сонет 64*

Естественно, наиболее беззащитным перед натиском времени оказывается человек. Его физический расцвет мимолетен, но особенно хрупка и мимолетна красота юности.

Уж если медь, гранит, земля и море  
 Не устоят, когда придет им срок,

Как может уцелеть, со смертью споря,  
Краса твоя — беспомощный цветок?

*Сонет 65*

Резец годов у жизни на челе  
За полосой проводит полосу.  
Все лучшее, что дышит на земле,  
Ложится под разящую косу.

*Сонет 60*

И как предупреждение.

...Время на тебя идет войною  
И день твой ясный гонит в темноту.

*Сонет 15*

Трагизм этого восприятия времени легко объяснить. Человек Возрождения вознамерился жить на свой страх и риск, и в этой новой ситуации он, естественно, увидел во времени «беспощадного врага». «Новый человек» не боялся смерти как таковой, ведь он оставался верующим и, следовательно, уповал на «спасение» в мире ином — его страшила возможность упустить в жизни что-то неповторимое. В самом деле, по мере того как он открывал новые стороны окружающей его жизни, аа первый план выдвигалась проблема «исчерпания» ее. Именно этим принципиально отличалось ренессансное мироощущение от средневекового. Желание побольше успеть, свершить, полностью использовать отпущенное человеку деятельное время. Короче, само позитивное содержание времени вызывало ощущение его «краткости». Однако порождало это ощущение не апатию обреченного, а энергию борца". Правда, если эта энергия направлялась на тщету, например на достижение высокого положения и получение титулов, время становилось коварным и результат усилий оказывался смехотворным.

Под солнцем листья распростер  
Наперсник принца, ставленник вельможи.  
Но гаснет солнца благосклонный взор,  
И золотой подсолнух гаснет тоже.  
Военачальник, баловень побед,  
В бою последнем терпит поражение,  
И всех его заслуг потерян след.  
Его удел — опала и забвенье.

*Сонет 25*

К тому же старость и неминуемый упадок сил превращают прошлое величие в мишуру. Какой в славе прок? Подлинная слава давно улетела к новому баловню судьбы.

Когда в расцвете сил, в полдневный час,  
Светило смотрит с вышины крутой,—  
С каким восторгом миллионы глаз  
Следят за колесницей золотой.  
Когда же солнце завершает круг  
И катится устало на закат,  
Глаза его поклонников и слуг  
Уже в другую сторону глядят.

*Сонет 7*

Человек должен стремиться обрести то, что времени не подвластно. Прежде всего это потомство, дети. По сути, гуманисты создали впервые в истории чисто рационали-

стический культ семьи, культ детей. Дети в их глазах — не долг верующего перед творцом, а ответ на вызов времени физическому «я».

Но если время нам грозит осадой,  
 То почему в расцвете сил своих  
 Не защитишь ты молодость оградой  
 .....  
 Отдав себя, ты сохранишь навеки  
 Себя в созданья новом — в человеке.  
*Сонет 16*

Я думаю о красоте твоей,  
 О том, что ей придется отцвести,  
 Как всем цветам лесов, лугов, полей,  
 Где новое готовится расти.  
 Но если смерти серп неумолим,  
 Оставь потомков, чтобы спорить с ним!  
*Сонет 12*

Мы вянем быстро — так же, как растем,  
 Растем в потомках, в новом урожае.  
 Избыток сил в наследнике твоём  
 Считай своим, с годами остывая.  
*Сонет 11*

Власть истории над умами гуманистов была лишь проявлением ощущения смены исторических эпох, пребывания на перевале времен. Отсюда и возросший престиж общественной памяти, фиксированной в письменах. Слово поэта — нетленно. Слово — это живая память о прошлом, голос минувшего, всегда обращенный к будущему.

Замшелый мрамор царственных могил  
 Исчезнет раньше этих веских слов,  
 В которых я твой образ сохранил.  
 К ним не пристанет пыль и грязь веков.  
 Пусть опрокинет статуи война,  
 Мятеж развеет каменщиков труд,  
 Но врезанные в память письмена  
 Бегущие столетья не сотрут.  
*Сонет 55*

Про черный день оружие я припас,  
 Чтоб воевать со смертью и забвеньем,  
 Чтобы любимый образ не угас,  
 А был примером дальним поколениям.  
*Сонет 63*

Сонеты проникнуты поэтическим ощущением времени. Время — чисто внешняя и абсолютно враждебная человеку сила, подчиняющая его универсальному закону земного бытия: расцвет, упадок и исчезновение. Из этой предначертанной быстротечности человеческой жизни Шекспир как поэт и гуманист делает единственно возможное для него заключение: против опустошительных набегов времени у человека двоякого рода оружие: продолжение рода и личная доблесть, которая проявляется в социально или эстетически значимых деяниях, заслуживающих увековечения в исторической или поэтической памяти грядущих поколений. Очевидно, что в сонетах мы сталкиваемся с чисто индивидуалистическим ответом на его требования.

## Время в хрониках

Индивидуалистическое восприятие времени явилось важной предпосылкой формирования исторического взгляда на суть вещей, базой осознания однократности и неповторимости отдельных моментов времени, т. е. представления об индивидуальности исторической эпохи.

Однако переход от индивидуалистического восприятия времени к социальному дался Возрождению нелегко. Он так и не был завершен к концу XVI в. На первом этапе сдвиг заключался лишь в том, что связь «человек — время» предстала в виде системы, на одном полюсе которой находился правитель, а на другом — противостоящие ему обстоятельства. Так, в сочинении Макиавелли «Государь» (1513), наиболее ярко отражающем эту стадию развития исторической мысли, время трактуется как слепая стихия, которую политик, однако, может «оседлать», если он достаточно умен, смел и коварен, если он вовремя «уразумевает» обстоятельства и сообразует с ними свои действия, «совладевает» с ними, подчинит их, заставит служить себе. Одним словом, между временем и политиком происходит своего рода состязание в «хитрости».

Второй этап перехода от индивидуалистического восприятия времени к социально-историческому запечатлен в хрониках Шекспира<sup>12</sup>. Хотя интерпретация времени как полностью объективированной силы, противостоящей государю, как изменчивость внешних обстоятельств еще присутствует в них, однако это уже не единственная его интерпретация. Наряду с ней в хрониках прослеживается восприятие времени как причинно-следственной связи в цепи событий, как скрытого объективного порядка, независимого от субъективного опыта наблюдателя («Есть в жизни всех людей порядок некий...» — «Генрих IV», ч. II, III, 1). Это неизбежно приводит Шекспира к догадке (если не к пониманию) об «открытости» исторического времени: историческое время непрерывно, вопреки тому, что моменты (события) предстают разрозненными (прошедшее, настоящее или будущее).

В действительности в настоящем «зримо» семена будущего, в нем же, в свою очередь, дают всходы семена, посеянные в прошлом.

Таким образом, историческим время предстает только как единство всех трех измерений, т. е. только тогда, когда каждое из них — прошедшее, настоящее ж в известном смысле будущее — выступает как настоящее, в котором прошедшее и будущее смешаются в живом сопряжении. Все это звенья одной цепи.

Истолкование времени как «цепи времен» приводят Шекспира к более сложному восприятию истории, чем та это были способны «профессиональные» тюдоровские историографы. С одной стороны, он видит в ней непрерывную смену различных исторических эпох, с другой стороны, история для него выступает как нечто длящееся в самой изменчивости, как глубинное течение, скрытое под поверхностью событий, за капризами фортуны. Очевидно, что только в таком случае становится возможным сопоставление и различение времен (время «злое», «лихое», «кровавое»). В подобного рода видении заключался несомненный духовный сдвиг. Модус «настоящее» (или, как мы говорим, «современность»), которым христианская историческая традиция, по сути, пренебрегала, теперь превратился в средоточие исторической жизни и энергии. «Настоящее» — решающее звено, соединяющее всю цепь времен. Тем самым из чего-то неподвижного, застывшего, всегда равного самому себе «современность» в шекспировской перспективе преобразуется в момент; движения истории, в зеркало всех времен. Но именно поэтому история предъявляет к современникам — «историческим актерам» — свои особые требования, уклониться от которых можно разве что в иллюзиях. Не отсюда ли возникло наше «слушать время»? Недаром Шекспир различает в хрониках «исторических актеров», сознающих свое время и игнорирующих его, дальновидных или ослепленных, сражающихся на его стороне или вступающих с ним в единоборство..



Особенностью трактовки Шекспиром проблемы времени в его «политических», и прежде всего исторических пьесах является сосредоточение внимания на вопросах что означает время в сфере политики, в чем проявляется здесь изменчивость, что диктует она стоящим у кормила власти, как соотносятся время и нравственные ценности в сфере политики, и в первую очередь начала личные общественные? Все эти вопросы могут быть суммированы следующим образом: в чем различие между понятиями «оседлать время» и «быть на вершине времени» в сфере политики и, следовательно, истории?

Основная опасность, которая подстерегала человека, пытавшегося дать ответ, заключалась в иллюзорном представлении, будто достижения «высшей власти» уже достаточно, чтобы ответить на вызов времени, т. е. оказаться «поднятым над временем», иначе говоря, в смешении форм личной и публичной реакции на решающий факт политики — изменчивость. Ренессансная этика сыграла злую шутку с ренессансной политической философией; она содействовала превращению высшей публичной ценности своего времени — государства — в олицетворение личной доблести его носителей. Столкновение между личным и публичным выражением содержания основной этической ценности эпохи Ренессанса — *virtu* (доблести) — составляет стержень драматического конфликта в указанной группе пьес.

Только что возникшее из хаоса феодальных усобиц государство манило к себе охотников любым способом приобщиться к его престижу, знаками публичной власти «засвидетельствовать» свое право пережить физическую смерть. Но поразительно, как мало находилось в их среде лиц, способных задуматься над сутью этой новой власти, над смыслом «доблести публичной». Неумение различать личные и публичные аспекты доблести и проистекающие отсюда иллюзии, трагические ошибки и тяжкие преступления — таковы истоки событий, связанных с результатами вторжения исторического времени в сферу политики и истории.

Из того обстоятельства, что человек «помещен» в беспрерывно меняющийся мир, в котором единственной реальностью является моментальная ситуация, для гуманиста возникла сложная социально-этическая проблема: какова роль моральных ценностей в процессе столкновения ограниченного временем человека с еще более мимолетными ситуациями? Как соотносятся и взаимодействуют в таких случаях воля «исторического актера», диктат «моральных ценностей» и требования времени. Художественное исследование Шекспиром этих вопросов и составляет одну из наиболее содержательных граней его исторических хроник.

Исторический мир Шекспира полон конфликтов и волевых решений, кипения страстей и трагических выборов. Одна из примечательных особенностей художественного исследования Шекспиром этих ситуаций' в хрониках заключалась в том, что поведение «исторических актеров» рассматривалось им сквозь призму времени. Только подобным образом можно было убедиться в том, что «выбор», представлявшийся с точки зрения данной ситуации (изолированного момента) единственно «целесообразным», оказывался в более длительной перспективе роковым, трагическим. В этом разновременном (и тем самым многоплановом) рассмотрении одной и той же исторической ситуации и воплотился столь характерный для стиля исторического мышления Шекспира прием — измерение политической этики историей. Открывавшаяся при этом взору многоликость действительности заставляла задумываться над всеобщей неустойчивостью вещей, подвижностью всех граней и постоянно различать видимость явлений и их изнанку.

Итак, в хрониках Шекспира время как история (т. е. всеобщая изменчивость) и время как данный момент истории (уникальность моментальной ситуации) то сливаются в едином видении, то разобщаются, и это для того, чтобы в первом случае воздать должное самой способности человека принимать исторические решения и во втором случае, чтобы представить суду истории каждое из подобных исторических решений.

Обратимся теперь к хроникам и проиллюстрируем хотя бы некоторые из отмеченных выше наблюдений.

В хрониках «Генрих VI» и «Ричард III» время является стержнем не только сценического действия, но и драматического конфликта. Хотя и по-разному, главные герои этих драм разыгрывают притчу о том, что происходит, когда венценосец, в чьих руках судьбы страны и народа, находится в «разладе» со временем.

Конечно же, и Генрих VI и Ричард III, каждый на свой манер, не способны подчиниться требованиям исторического времени. Различие между их «ответами» на эти требования заключалось в том, что один откровенно признавался в этой своей неспособности и понимал трудности поставленной перед ним задачи, другой, наоборот, не способен был подчиниться из-за того, что считал себя сверхчеловеком (точнее, недочеловеком), которому по плечу преподать урок и самому времени, полностью «перетолковав» его требования. Как мы убедимся ниже, Ричард Глостер возымел желание «переупорядочить времена», отрицая прошлое как фундамент настоящего и тем самым разрывая связь между настоящим и будущим. Одним словом, это было решение, опирающееся только на обособленное настоящее, без прошлого и без будущего, т. е. на разрыв цепи времен. Какова же временная ситуация в трех частях пьесы «Генрих VI»? На первый взгляд она очень проста.

В стране с годами все больше давали о себе знать феодальные распри, произвол, беззаконие, заговоры, мятежи. Казалось бы, что после долгого и твердого правления Эдуарда III и столь блистательных военных побед англичан во Франции (в Столетней войне), в особенности при Генрихе V, чего проще было пресечь феодальную смуту в самом зародыше. Однако история распорядилась по-иному. После смерти Генриха V (1422) английский трон занял его сын Генрих VI, девятимесячный младенец. Началось долголетнее регентство, столь благоприятное для бесконечных придворных интриг и борьбы за власть. Однако и тогда, когда Генрих VI стал править самостоятельно, перемен не произошло. Дело в том, что и взрослый Генрих нуждался в опеке, т. е. в том, чтобы кто-нибудь правил за него и решал дела королевства. Сам же он избрал менее тягостное занятие — молитвы и созерцание.

Какой из государей на земле  
 Так мало видел радости, как я?  
 Едва с моей расставшись колыбелью,  
 Я был, грудной младенец, коронован.  
 Так страстно подданный венца не жаждет,  
 Как жажду я быть подданным простым.

*«Генрих VI», ч. II, IV, 9*

Опека, разумеется, еще больше подливала масла в огонь, разжигаемый соперничающими кликами: каждая имела шанс подчинить себе слабовольного короля, которого только из приличия именовали «святым».

Уже из этого краткого экскурса в историю Англии XV в. очевидно, что время от короля Англии требовало по сути одного — пресечь феодальную усобицу любыми мерами. Но именно это и не было под силу Генриху VI. Даже тогда, когда разгорелась открытая борьба за его корону, так называемая война Роз, Генрих обнаружил единственное желание — чтобы все решилось без него, как угодно, но только без него.

Пусть бог, кому захочет, даст победу...

*Там же, ч. III, II, 5*

Генрих явно не пожелал взять на свои плечи груз ответственности. На требования истории он ответил отказом, бегством, желанием скрыться в царстве другого времени — времена поселянина, в стороне от бурь истории. «О боже», — восклицает Генрих, —

...Мнится мне, счастливый жребий —

Быть бедным деревенским пастухом  
 Сидеть, как я сейчас, на бугорке  
 И наблюдать по солнечным часам,  
 Которые я сам же смастерил  
 Старательно, рукой неторопливой,  
 Как убегают тихие минуты.

.....  
 Ах, мне мила, желанна жизнь такая!  
 И не отраднее ли тень куста  
 Для пастухов, следящих за стадами,  
 Чем вышитый роскошно балдахин  
 Для королей, страшась измены?  
 О да, отрадней, во сто раз отрадней!

*Там же*

Перед нами нагляднейший пример сопоставления двух времен: исторического, воплощенного в глубоком общественном потрясении, и натуралистического, представленного пастушеской идиллией. Не способный взять на себя роль хотя бы участника бурных событий, не говоря уже о роли кормчего, Генрих VI предается мечте о покое и тишине. Увы, от истории королю уйти никуда не дано. И действительность напоминает ему об этой истине тут же. На сцену входит сын, убивший отца; он волочит за собой его тело.

С ы н.  
 Кто он? О боже! То черты отца,  
 Которого убил я невзначай.  
 О злые дни, когда возможно это!

Входит отец, убивший сына; он волочит за собой его тело.

О т е ц.  
 ...Дай-ка, посмотрю я, враг ли это.  
 Ах, нет, нет, нет. Единственный мой сын!  
 О сжался, боже, над злосчастливым веком!  
 Что за лихие, зверские дела,  
 Безумные, мятежные, слепые...

*Там же*

Так сценическими средствами раскрывается весь трагизм сложившейся ситуации: общество поставлено на край гибели, война ворвалась в его сердцевину — в семью. Люди ослеплены, они не ведают, что творят. Можно ли найти более убедительное свидетельство вины короля, перед глазами которого эта сцена и происходит! Но как же реагирует Генрих VI? Как и следовало ожидать — lamentациями до довода бедствий, причиняемых смутой «бедным овцам». В них он даже косвенно признает свою вину: «О смерть моя,— им (горю, скорби.— *М. Б.*) положи конец». И только! Согласимся, что это преступно мало со стороны короля, ибо что значила его личная судьба в сравнении с судьбой народа, оставленного на растерзание «львов», воюющих из-за «пещер». Именно поэтому история призовет его к суровому ответу не за совершенные им лично злодеяния, а за несовершенное добро — за то, что, будучи неспособным его совершить, он все же оставался королем, цеплялся за корону.

Но прежде чем рассказать, как наказан был Генрих за свое бездействие, остановимся еще на одном очень ярком эпизоде, призванном показать и зрителю и читателю, что от времени никому укрыться не дано.

Речь идет о саде Айдена. Сцена эта — символ иллюзорности надежд «исторического актера» скрыться от тревог времени. Генрих надеялся этого достичь,

став пастухом. Айден не пастух, он мелкий сквайр, которому его сад за высокой оградой казался не только земным раем, но и неприступной крепостью, защищающей от всех тревог жизни. В этом саду он чувствовал себя, как ему казалось, гораздо счастливее всех венценосцев мира.

О, кто, живя в придворной суете,  
 Таким покоем может наслаждаться?  
 Отцовское наследье небольшое  
 Дороже мне, чем государя власть.  
*Там же, ч. II, IV, 10*

Но как обманчив этот покой! Через кирпичную ограду в «райский» сад пробирается не кто иной, как скрывающийся от погони предводитель только что подавленного народного восстания Джек Кэд. Поистине нельзя было придумать более многозначительную в глазах современников Шекспира ситуацию, чем встреча Айдена с Кэдом, ненавидимого власть имущими, голодного и гонимого Кэда и самодовольного сквайра Айдена, этого олицетворения торжествующего порядка. Однако Шекспиру были важны не эти контрасты сами по себе. Он стремился показать, что от бурь жизни никому на земле скрыться не удастся. И вот в своем «райском» саду Айден совершает убийство, благо вконец измученного голодом и усталостью Кэда заколоть было нетрудно. Но одновременно предreshена и участь сада.

А теперь вернемся к Генриху VI. За нежелание (неспособность) взять на свои плечи бремя ответственности, налагаемое саном, за уклонение от этого бремени (под всякими, пусть самыми благовидными, предложениями) Генрих VI не мог не ответить. И орудием суда времени над ним явился, как известно, Ричард Глостер. Зачем пожаловал к нему, заключенному в каземат Тауэра, этот «гость», Генриху было ясно. И в этот момент он прозрел. Обращаясь к Ричарду Глостеру, заговорил наконец языком короля:

Когда б за дерзость первую свою  
 Ты был убит, то не убил бы принца.  
 И я пророчу...  
 .....  
 ...много скорбных старцев,  
 И вдов, и горько плачущих сирот,  
 Отцов, лишенных сыновей любимых,  
 Жен, о мужьях рыдающих, детей,  
 Скорбящих о родителей кончине,—  
 Час твоего рожденья проклянут.  
*Там же, ч. III, V, в*

Итак, Генрих VI признал: он ничего не сделал, чтобы предотвратить феодальную смуту, обуздать мятежных вассалов,— тем самым он повинен во всех страданиях, которые обрушились на народ Англии в войне Роз, Попытка Генриха оправдаться беспомощна. В самом деле, что могли значить для оправдания короля подобного рода признания?

...Добротой я славлюсь;  
 Не заграждал я слуха к их \* (\* Подданных.) мольбам,  
 Не допускал я долгих проволочек,  
 Я жалостью их раны исцелял...  
 .....  
 Не мстил им,— хоть грешили предо мною,—  
 За что ж любить им Эдуарда больше?  
*Там же, IV, 8*

Но речь шла не о личных качествах Генриха, а о его исторической несостоятельности. Оказавшись перед суровым выбором, Генрих VI попытался стать на путь компромисса, во имя сохранения короны за собой он лишил своего сына права наследования, назвав преемником Йорка. Нарушив преемственность родовую, Генрих тем самым разрушил в глазах современников Шекспира «порядок времени». Известно, история — судья беспощадный. Генрих сперва лишился престола, захваченного Эдуардом IV (Йорком) («Я буду стоять,— обращается он к Эдуарду, — вы будете сидеть на моем троне?»), а вскоре меч Ричарда Глостера — этого порождения порочного правления Генриха — лишил его жизни в каземате Тауэра. Ему еще было чуждо ренессансное «искусство» политики, он то и дело смешивал индивидуальную этику, характерную для различных ступеней в иерархии времени: времени пастуха, монастырского инока и короля. В этом квинтэссенция драмы.

В легко нарушаемом динамическом равновесии, именуемом «государством», в постоянной смене ситуаций, то и дело ставящих человека перед выбором «или-или», в наблюдаемом в верхах соперничестве, в интригах, коварстве можно усматривать либо доказательство субъективного характера исторического времени (и тогда волевое «упорядочение» времен — норма «политического тела»), либо свидетельство объективного характера исторического времени (и тем самым общественные кризисы, связанные с подобным «упорядочением», — историческое зло). Как известно, Ричард Глостер (впоследствии король Ричард III) — олицетворение политических и этических принципов, вытекающих из первого умозаключения. Важность фактора времени в «Ричарде III» поистине трудно переоценить<sup>13</sup>. Это подчеркивается первой же реплике Ричарда:

...нынче солнце Йорка злую зиму \* (\* Зиму наших злоключений, наших невзгод.)

В ликующее лето превратило...

*«Ричард III», I, 1*

Поскольку конфликт в этой драме не только связан течением времени, но сам по себе возможен лишь в определенное время, вся смысловая канва сценического действия наполнена временными и историческими концепциями. Нетрудно заметить, что следующая за приведенными строками фраза: «нависшие над нашим домом тучи» — может относиться к «родовому времени» Йорков, равно как и к «личному времени» Ричарда. Точно так же «зима наших злоключений» имеет многоликую временную перспективу, включая «социальное время», ситуацию в стране. Вообще временных измерений в «Ричарде III» намного больше, чем в трилогии «Генрих VI». Так, наряду с «индивидуальным», «родовым», «социальным» и «космическим» «временами» мы здесь, как и в других хрониках, отчетливо различаем так называемую «двойную временную схему» (характерную для елизаветинской драмы) — длительность «театрального варианта данной истории» в сравнении с длительностью «действительной истории». Так, число дней, «представленных» в «Ричарде III» (по различным подсчетам), колеблется всего лишь между 8 и 12, а отрезок истории, о котором «рассказано» в драме, охватывает два царствования — Эдуарда IV и Ричарда III. Иными словами, в первом случае время до предела сжато. В цепи событий действительной истории этого периода высвечиваются только истинно драматические моменты, т. е. моменты-вехи, моменты-повороты, объясняющие и готовящие финал. Этой компрессией достигаются ускорение действия и драматическая насыщенность. В самом деле, что собой представляет Ричард Глостер как характер, зрителю ясно с первых минут, тем более что Ричард в своем открывающем представлении монологе не оставляет на этот счет ни малейшего сомнения. Следовательно, единственное, что в дальнейшем интересует зрителя, — это проявление данного характера во времени, в различных ситуациях, т. е. вопрос: как далеко он может зайти? Очевидно, что такое ускорение времени — важнейшее средство усиления указанного интереса: как отмечалось, в «Ричарде III» речь идет не о времени вообще, а о

специальном времени <sup>14</sup>, о стечении обстоятельств, о времени, «созревшем» для определенных событий, критических и уникальных с точки зрения будущего. Действительно, вне ситуации, связанной с малолетним наследником престола, путь к трону был бы не только закрыт Ричарду, но, что многозначительнее (с точки зрения драматизма века), Ричард не смог бы раскрыть всю безмерность воплощенного в нем нечеловеческого зла. С другой стороны, без «времени Ричарда» Англия не знала бы всей меры ужаса, связанного с феодальной смутой и произволом. Логика смутного времени осталась в таком случае как бы нераскрытой.

О характере этого «специального времени» Ричард Глостер и его современники судили по-разному. Для первого, как мы видели, оно воплощало «ликующее лето», для жертвы его произвола, лорда Хестингса, это было «ужасное, невиданное время». Очевидно, что кто-то из них ошибался. Но поскольку возглас Хестингса, отправляемого без суда и следствия на казнь, воспринимается как вопль страны, народа, то легко заключить, что в полном заблуждении (насчет характера времени) находился Ричард. Вся мера обреченности стремления Ричарда жить по «собственному счету» времени, «оседлать» и круто повернуть объективное время, создавая «новую гармонию» истории, обнаруживается только в роковой для него битве при Босворте (1485).

Однако то исходное обстоятельство, что Ричард был «не в ладах со временем», подчеркивается и комментируется на протяжении всей драмы. Это началось с рождения. «До срока я послан в мир живой», — говорит Ричард. И леди Анна повторяет на свой лад: «А если у него [Ричарда] дитя родится, пусть будет недоносок». Королева Маргарита обращается к Ричарду со словами: «Горбун ты недоношенный». Вне положенного времени появившись на свет божий, Ричард всю жизнь остается в разладе с ним. Выше уже отмечалось, что время индивида, порвавшего с гармонией Вселенной, не имеет ни прошлого, ни будущего, а только эфемерное настоящее. Это с предельной отчетливостью обнаруживается в беседе Ричарда III с королевой Елизаветой. Ричард объясняется в любви к ее дочери и просит «заступничества» перед ней. Елизавета говорит; «Чем клясться будешь?» — и обнаруживается, что у Ричарда «нечем клясться». Прошлое он хотел бы забыть: памяти он не выносит. На восклицание Ричарда: «Будущим своим» — Елизавета отвечает: «Нет, не клянись ты будущим — оно злодейством прежним все искажено» («Ричард III», IV, 4).

Итак, прошлое грешно против будущего и тем самым создает безнадежное настоящее.

Но, выпав из гармонии мира, Ричард возымел поистине дьявольское желание — жить по собственному времени. Оно нашло свое отражение в горделивой формуле: «Я — один». Счет по этому индивидуальному календарю не измерялся ни движением звезд, ни количеством песка, просыпавшегося в песочных часах, а исключительно целью Ричарда. Это было время замысла, время его созревания и реализации. Такое время поначалу течет незаметно, но наступает момент, и оно взрывается вихрем. В драме «Ричард III» такие вихри вращаются вокруг двух моментов: коронации Ричарда и битвы при Босворте.

У Шекспира Ричард вечно спешит, ему всегда некогда. Даже с матерью, герцогиней Йоркской, он встречается мимоходом, торопясь отправиться в поход. Неудивительно, что он прерывает ее сетования репликой: «Будь краткой, я тороплюсь». Однако по мере приближения к критическому пункту «время» Ричарда все более сжимается. Этим драматург достигает двойную цель: во-первых, подтверждается уже ранее возникшая мысль, что время Ричарда «противоестественно», во-вторых — что, по сути, у него вообще нет своего времени, что он живет, как грабитель, — часом, пользуясь тем, что ему не принадлежит. Так готовится финал — крушение «времени Ричарда». И если даже заранее не знать его, сомнений в исходе конфликта не остается. От внимательного читателя и зрителя не может ускользнуть тот факт, что в драме фактически отсутствует время правления Ричарда — его как бы и не было. В самом деле, в тот момент, когда в соборе происходит венчание Ричарда на царство (кстати, этого мы не видим, а только

слышим о нём), мы узнаем, что за морем собирает силы опасный соперник Ричарда — граф Ричмонд (королева Елизавета, вдова Эдуарда IV, говорит сыну своему Дорсету: «За море ты к Ричмонду беги, спасайся, торопись из живодерни»). Да и в самой Англии — тому есть свидетельства — плетется заговор в его пользу. Это происходит уже в самом начале правления Ричарда III.

В следующей сцене, где Ричард впервые предстанет в королевской одежде, события закружатся с невероятной быстротой. Почти одновременно следуют: приказ об убийстве заключенных в Тауэре малолетних принцев — племянников Ричарда, решение избавиться от жены — леди Анны, с тем чтобы жениться на юной племяннице — Елизавете, измена ближайшего сподвижника — Бекингема. И постоянно звучащий лейтмотив — вопрос Ричарда: «Который час?». Времени действительно остается мало, очень мало. И вот уже мы видим Ричарда в походе. Бекингема собирает силы в помощь готовящемуся вторжению в Англию Генриха, графа Ричмонда. А рядом с королем «его опора» — тайные сообщники Ричмонда, готовые при первом удобном случае предать его. В разных частях страны против Ричарда вспыхивают мятежи. Королевский лагерь разбит на Босвортском поле. Лагерь притязавшего на корону Ричмонда — в одном дне пути от него. И тут вдруг обнаруживается, что движение времени невероятно замедляется. Оставшиеся до финала сутки жизни Ричарда рассматриваются во всех подробностях. Здесь мы сталкиваемся с «психологическим временем»<sup>15</sup>, когда последний отрезок его делится на очень мелкие составляющие. В результате каждая деталь приобретает особый смысл. Вот лагерь Ричарда. Внешне король бодр и по-прежнему энергичен, но все чаще его охватывают сомнения. Его сподвижники ведут себя, как обреченные.

В лагере Ричарда притаилась измена. Ричарду почти не на кого полагаться, он абсолютно одинок перед решающей битвой. Неудивительно, что он способен только на показную бодрость.

Затем во сне Ричарду являются духи всех замученных им жертв. Подземный мир предрекает ему день возмездия. Календарь Ричарда на исходе, на нем повис последний листок. Пробуждение не менее ужасно, чем сон. Из уст этого «великого актера» времени вдруг вырывается: «Боюсь я, Ретклиф». Только теперь Ричарду ясно: тот, кто пытается жить по принципу «я — один», обречен.

Отчаянье! Никто меня не любит.  
Никто, когда умру, не пожалеет.  
Как им жалеть, когда в самом себе  
К себе я жалости не нахожу?

*Там же, V, 3*

У Ричмонда и его сподвижников есть будущее, но не потому, что они его заслужили, а потому только, что его лишил себя Ричард. Обращаясь к воинам, он полон веры:

Заснете сладко вы, убив тирана;  
.....  
Земля родная вам воздаст сторицей;  
.....  
Как победителей вас жены встретят;  
Детей спасаете вы от меча,  
И старость вашу внуки успокоят.

*Там же*

Но что же в лагере Ричарда? Он не в силах вдохновить свое войско будущим. У него нет этого будущего: нет наследника, нет идеалов. «Кулак нам — совесть, а закон нам — меч». Не так ли обращается главарь к своей разбойничьей шайке?!

Отметим еще одну любопытную деталь: перед боем от Ричарда отвернулись и космические силы. Уже утро, пора бы солнцу появиться, а его все нет. Ричард справляется по календарю и вынужден заключить:

Оно светить не хочет; а по книге  
Уж час тому назад оно взошло.  
Кому-нибудь день этот черным будет...  
*Там же*

Через несколько часов все становится ясным: черным день оказался для Ричарда. Итак, на Босвортском поле произошла смена времен: Англия получила новое настоящее— умиротворение в «счастливом союзе» двух домов Ланкастеров (Генрих VII) и Йорков (Елизавета, дочь Эдуарда IV.) — и тем самым будущее.

Выше мы могли убедиться в том, как велика роль аргумента времени в личных и политических драмах, воплощенных в хрониках «Генрих VI» и «Ричард III». Тот же аргумент остается стержнем драматического конфликта и в хрониках «Ричард II», «Генрих IV» (части первая и вторая), «Генрих V». Однако здесь проблема времени рассматривается уже под новым углом зрения. В самом деле, и в «Генрихе VI» и в «Ричарде III» представлен главным образом отрицательный опыт использования фактора времени в политике, хотя и олицетворен этот опыт в двух, казалось бы, противоположных реакциях на аргумент времени: бегстве от требований времени в одном случае и попытке манипулировать временем «по своему усмотрению» — в другом. Однако нет ни малейшего сомнения в том, что в обоих случаях перед нами чисто феодальная реакция на новую историческую реальность отнюдь не феодального происхождения. Оттого, что Генрих VI мечтал о временах патриархальной идиллии, а Ричард III возымел намерение превратиться из «подданного времени» в его властелина, феодальная суть этих реакций не меняется: она раскрывается в полной неспособности обоих правителей понять реальность времени и вытекающие из нее последствия для политической практики. Просто «феодализм» Генриха VI — пассивного свойства (авось время обойдет его стороной), в отличие от «ренессансного феодализма» Ричарда III, поставившего свои недожинные способности и энергию на службу феодально-династическим интересам.

В хрониках, включаемых во вторую тетралогия, наше внимание привлекает прежде всего положительный опыт реакции на запросы времени. Это, разумеется, не значит, что опыт отрицательного свойства здесь уже полностью отсутствует. Отнюдь нет. Хронологически первая драма «Ричард II» с этой точки зрения может рассматриваться как прямое продолжение «Генриха VI» и «Ричарда III». Более того, именно в «Ричарде II» тема первой тетралогии нашла наиболее зрелое воплощение.

С детства привыкший к поклонению королю как «помазаннику божию» и усвоивший весьма поверхностно истолкованное учение о «подсудности короля одному только богу», Ричард II повел себя на престоле так, как будто он не подвластен времени, стоит выше времени и может позволить себе просто-напросто игнорировать его. Такому государю сама мысль об «искусстве политики» представляется чуть ли не святотатством. Политика — это всего лишь королевское право повелевать, и какова она — судить не смертным. Этот «лев, умиряющий леопардов», «рожденный не для того, чтобы расследовать, а чтобы приказывать», был нескрываяемо горд, когда одним словом «кроил время», сократив срок изгнания Герифорда из Англии (с 10 до 6 лет).

Какой огромный срок — в едином слове!  
Четыре смены долгих зим и лет! —  
Но рек король, и вот — их больше нет.  
*«Ричард II», I, 3*



Легко представить, сколь невыносимыми были для Ричарда II уроки времени, т. е. следствия изменчивости вещей и отношений. Привыкнув парить в высях унаследованного величия, Ричард должен был поистине трагично воспринимать все, что указывало на бессилие сана в столкновении со временем и на ничтожество личности, лишенной сана.

Приходится ли удивляться тому, что первое же столкновение с политическими трудностями вызывало у таких правителей отчаяние, что энергию действия они то и дело заменяли энергией слова: потрясали, взывали и проклинали. Когда же наступает прозрение — осознание значения времени в политике, появляется готовность начать все сначала, но в истории нельзя «начать сначала» — занавес опускается. Находясь в заточении, Ричард осознал это и сказал жене на прощанье:

...Старайся  
Представить прошлое прекрасным сном,  
Очнувшись от которого одно лишь  
Узнали мы — что побратался я  
С жестокой неизбежностью, родная,  
Союз с ней насмерть заключив...

*Там же, V, 1*

Вообще, только лишившись короны, а вместе с ней иллюзий, вытекавших из доктрины божественного права королей, Ричард прозрел. Он вдруг увидел, что государство — это не родовое поместье, которым можно распоряжаться по усмотрению собственника, что жизнь, общество развиваются по законам, над которыми даже «позаманник божий» не властен, а сам должен сверять по ним свои действия, если желает сохранить не только корону, но и голову.

Вот так и с музыкою нашей жизни.  
Сейчас я чутким ухом отмечаю  
Неверный такт в расстроенной струне,—  
А в строе государственном своем  
Нарушенного такта не расслышал.

*Там же, 5*

«Я время убивал, но, им убитый, теперь часами стал я для него: „Минуты — мысли, тиканье их — вздохи, на циферблате глаз — их бденья знаки"» (там же).

Итак, Ричард II — олицетворение еще одного опыта феодального, провиденциального по своей сути ответа на запросы времени.

Психологически и исторически многогранно анализируется проблема времени в хронике «Генрих IV». Прежде всего очевидно, что время уже стало предметом всеобщего интереса, интереса не средневекового, а ренессансного. Стержень проблемы не в констатации краткости отпущенного человеку срока на земле, а в характере реакции героев драмы на это заключение.

В пьесе «Генрих IV» мы сталкиваемся с политиком, успешно воспользовавшимся временем, поскольку он уразумел его природу. В двух отношениях именно Ланкастеры, а не Йорки (хотя хронологически все выглядит наоборот) подготовили исходные посылки тюдоровской реакции на вопросы времени. Во-первых, они признали изменчивость времен в качестве постоянно действующего принципа политики и, во-вторых, увидели в «законном наследовании» престола, т. е. в преемственности власти — от отца к сыну, важнейший стабилизирующий фактор и мире феодальных распрей, полном диких случайностей. Этим было заложено начало формирования высшей ценности в тюдоровской концепции власти — преемственности среди изменчивости.

Известно, что Ланкастерам, оказавшимся (в лице Генриха Болингброка) на английском престоле в силу волевого акта — низложения Ричарда II, акта, разрушившего

и опрокинувшего указанный принцип,— крайне важно было восстановить эту гармонию в отношении собственной династии и тем самым засвидетельствовать, что они не враги времени, а его орудие. В «Генрихе IV» именно эта забота сталкивается с явным нежеланием и неспособностью наследника Генриха IV взять на себя ответственность, вытекающую из принципа преемственности. Его беспутная юность — типичный образец феодального пренебрежения временем. В глазах практичного и расчетливого Генриха IV это превращало принца в «призрак наследника», что было равнозначно мятежу в собственном доме.

Но, как показало грядущее, суждение явилось ошибочным. Когда настал час испытаний для отцовского трона — на севере Англии вспыхнул грозный феодальный мятеж,— принц Генрих проявил волю и ум, чтобы взять на себя историческую ответственность, вытекающую из той гармонии времен, врагом которой он столь долго казался.

Все искуплю я головою Перси;  
Под вечер дня, отмеченного славой,  
Осмелюсь вам сказать, что я — ваш сын.  
*«Генрих IV», ч. I, III, 2*

Так впервые аргумент времени стал орудием «возрождения» принца. Принц изъявил готовность порвать с созерцательным восприятием окружающего (позиция «природы») и занять позицию активную, деятельную (позиция «истории»). И если в начале драмы «Генрих IV» принц Генрих, этот «беглый участник» жизни, по сути дела, стоит в одном ряду с Ричардом II, то по мере развития сценического действия он постепенно отдаляется от него и в конце концов оказывается на противоположном полюсе.

Таким образом, если Ланкастеры, вопреки ожиданиям, сумели основать династию, если они оказались гораздо ближе к Тюдорам, нежели хронологически более близкие к ним Йорки, то это случилось потому, что их мир был миром времени. На различных социальных уровнях этот мир выступал своей особой гранью. Время требует от человека сосредоточения. На уровне повседневности это проявляется в записывании человеком утром того, что предстоит сделать в течение дня; на уровне государя — в строгом следовании долгу. Другими словами, на всех уровнях жизнь в мире времени возможна только как выбор среди разнонаправленных «интересов». Именно поэтому историческое время оказывается единственным организующим началом жизни, им создается функциональное единство, соподчинение заложенной в мире и в человеке «разносторонности». Богатство — не для мотовства, а для разумной траты. И если Ланкастеры утвердились на престоле Англии без малого на столетие, то объяснение этому следует искать в умении слушать время. Пусть мир времени скучен, но он важен, пусть он ограничен и эмоционально беден, зато он устойчив, мир устоявшихся ритмов, что предпочтительнее зигзагов «актеров», живущих одним воображением или по «собственному календарю».

Наконец, в пьесе «Генрих IV» представлено и время счетное, чисто внешнее по отношению к круговороту человеческих дел. В самом деле, прислушаемся, о чем беседует мировой судья Шеллоу со своим управляющим:

Д е в и.  
Да, вот еще сэр, чем же мы засеем ту большую пашню — пшеницей?  
Ш е л л о у.  
Да, красной пшеницей, Деви.  
Д е в и.  
Да, сэр. А вот счет кузнеца за ковку лошадей и за плуги.  
Ш е л л о у.  
Проверь счет и заплати.

Хотя жизнь в доме Шеллоу течет во времени, но время здесь лишь отметка для памяти следования неизменного. Это время не историческое, а циклическое — однажды заведенных и повторяющихся действий. Его носители — истинные «подданные времени» в отличие от тех, кто стремится его оседлать. И хотя, будучи поверженными, последние признают свою судьбу лишь «игрушкой» в руках времени, они живут в постоянном поединке с ним. Только дающий о себе знать закон природы — старость и немощь — заставляет признать его суверенность по отношению к делам человеческим. На первый план выступает объективное время, время как необходимость поступать так, а не иначе, диктующее политику его действия безотносительно к его субъективным желаниям. Здесь скрывался зародыш идеи исторической закономерности — объективного сцепления событий, которое сильнее воли государя. Так, на жалобу одного из мятежников, поднявших оружие против Генриха IV, приближенный короля граф Уэстморленд ответил: «Добрейший лорд, постигнув роковую неизбежность событий наших дней, вы убедитесь, что ваш обидчик — время, не король» (там же, ч. II, IV, 1).

В завершение нашего анализа проблемы времени в исторических хрониках Шекспира мы должны остановиться на образе «шута (глупца) времени». Кто это? Это прежде всего политикан, действиями которого руководит конъюнктура. Перед ним не возникает вопрос: куда в конечном счете направлен поток времени, отдельный момент в его течении приобретает для него абсолютное значение.

Разумеется, политикан может рассчитывать только на мимолетный успех (у Шекспира — он у времени лишь «краткосрочный арендатор»). Смешивая «больное», «расстроившееся» время со «здоровым», принимая такой поворот его за общее направление потока, «подданные времени» отдаются слепой власти случая, берут у счастья «час в наем» (Сонет 124). Таковы мятежные бароны, пожелавшие воспользоваться в корыстных целях «юридической слабостью» и моральной «запятнанностью» королевского титула, унаследованного Болингброком от низложенного им Ричарда II.

Итак, открытие исторического времени было по своему значению огромным скачком в миропонимании, и самопознании человека. Оно обусловило поворот человека к окружающей его действительности, и прежде всего к социальной действительности. В результате открылась истина, совершенно чуждая средневековому сознанию: жизнь постоянно ставит человека перед выбором, и неумолимое время оставляет ему лишь одну-единственную возможность — деятельность, дальновидность и расчетливость в обращении со временем. Аргумент времени раскрыл ничтожность традиционных этических ценностей, основанных на созерцательном отношении к миру. Однако Возрождение ни в коей мере не повинно в том, что из всего богатства человеческих реакций на открытие времени буржуазный век фиксировал внимание лишь на одной, превратившейся в символ веры рыцарей так называемого первоначального накопления: «Время — деньги».

В художественном исследовании реакции человека на аргумент времени Шекспиру принадлежит место уникальное. В его творчестве отразилась сложнейшая гамма этих реакций — реакций людей самых различных общественных состояний, на всех уровнях чувствования, сознания и бытия. Но что особенно важно, Шекспир в исторических хрониках впервые отчетливо отделил время социальное от времени индивидуально-родового и тем самым сделал значительный шаг к тому, чтобы наполнить время подлинно историческим содержанием.

Наконец, Шекспир ярче, чем кто-либо из его современников, отразил выкристаллизовавшееся только в его эпоху сознание «многомерности» как индивидуального, так и социального времени. В первом случае многомерность эта выразилась, с одной стороны, в различиях в ритме практической деятельности отдельных индивидов и, с другой стороны, в различном восприятии длительности одних и тех же единиц времени индивидами, оказавшимися в различных ситуациях, на различных

отрезках человеческой жизни. Во втором случае «многомерность» времени выражалась и как различие в ритме последовательных исторических событий, и как различие в ритме событий, протекавших одновременно (на разных «горизонталях» общественного бытия).

Однако, как уже отмечалось, Возрождение не пошло дальше «событийного» измерения исторического времени, т. е. выражения его течения в форме хроники случившегося, деяний и т. п. Очевидно, что на этом уровне исторического сознания сохраняется возможность (и потребность) сравнения часового времени со временем, измераемым «по солнцу», с одной стороны, и церковным колоколом — с другой.

### **Глава III**

## **МИРОВИДЕНИЕ ШЕКСПИРА: ОТРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕРЕОТИПА МЫШЛЕНИЯ ЭПОХИ**

Мировидение Шекспира... Есть ли в современном шекспироведении исследовательская задача более трудная с точки зрения подступов к ней, более спорная и вместе с тем столь же научно актуальная?

Всякого, кто берется за решение этой задачи, подстерегают две опасности. Первая связана с концепцией, согласно которой в пьесах Шекспира заключается отчетливо выраженная авторская позиция, в частности вполне определенная система политической философии, этики, философий истории. Из этого следует, что внимательному читателю шекспировских пьес, который возымел бы желание все эти «системы» воссоздать, достаточно лишь собрать воедино разрозненные их элементы, содержащиеся в монологах и репликах многочисленных персонажей его пьес. Легко представить, какое широкое поле открывается для конструирования гипотез, ибо в этом случае исследователь должен сам решать, когда и чьими устами «говорит» Шекспир<sup>1</sup>. Вторая опасность связана с концепцией прямо противоположной — с полным отрицанием наличия в пьесах Шекспира не только явного, отчетливо выраженного, но и неявного, скрытого за драматургической формой мировоззренческого подтекста. Эта позиция аргументируется следующим образом: Шекспир был не мыслителем, а художником, он оперировал не логическими категориями, а образами, т. е. «неразложимыми целостностями». В своем творчестве он преследовал прежде всего цели эстетические, а не политические, морализаторские, дидактические. Отсюда делается вывод, что в каждом конкретном случае Шекспир выражал ту или иную точку зрения в зависимости от ее эстетической функции<sup>2</sup>. Позиция, занятая советскими шекспироведами, представляется нам единственно научной.

Наиболее отчетливо эту позицию изложил А. Аникст. Признавая наличие в шекспировских пьесах уникального по своему познавательному значению мировоззренческого подтекста, автор вместе с тем предупреждает о трудностях, с которыми неизбежно сталкивается его исследователь.

Шекспир обладал наиболее развитым умением объективировать свои переживания, он не открывался в своих пьесах, высказывания его персонажей выражают их воззрения, а не Шекспира. Только постигнув его искусство, можно приблизиться к пониманию того, что думал сам Шекспир<sup>3</sup>.

Советское шекспироведение в послевоенные годы наглядно продемонстрировало, сколь многого можно достичь, следуя по этому пути.

Стоявшая перед нами задача, однако, требовала иного подхода к проблеме — подхода не литературоведческого, а, как уже отмечалось, историко-критического. Нас интересовало, в какой степени в пьесах Шекспира отражено общественно-историческое (в широком плане) сознание тюдоровской эпохи. При таком повороте проблемы появляется редкая возможность попытаться выяснить, в какой мере в пьесах Шекспира представлены, с одной стороны, элементы господствующего стереотипа в социально-историческом сознании его времени и, с другой стороны, элементы, от него отличающиеся, если не противоположные. Таким образом, для нашей цели на первый план выдвигается задача

рассмотреть пьесы Шекспира в качестве источника по истории общественно-исторической мысли елизаветинской Англии.

В новейшей западноевропейской литературе усиленно подчеркивается однозначность в «решении» Шекспиром многих мировоззренческих проблем. Для нашей же цели гораздо важнее подчеркнуть многозначность, глубокую противоречивость того, что именуется общественным сознанием тюдоровской эпохи.

XVI век — одна из сложнейших эпох в интеллектуальной истории не только Англии, но и Европы в целом, Здесь столкнулись и в определенной степени смешались традиции средневековой схоластики и воззрения гуманистов, Реформация и контрреформация, идеология торжествующего абсолютизма и все направления тираноборчества, апология сословности и порядка и идеология социального протеста обездоленных. Общественно-историческое сознание тюдоровской эпохи включало все эти течения мысли, каждое из которых, в свою очередь, разветвлялось на множество направлений, школ, учений. И тем не менее над Англией витал дух Возрождения<sup>4</sup>.

Мировидение Ренессанса нашему современнику постичь и легко, и трудно: легко потому, что многие культурные ценности той эпохи стали неотъемлемой частью нашего духовного мира; трудно потому, что множество идей, убеждений, социальных норм ушли в небытие вместе с временем, их породившим. В первом случае речь идет о ценностях, которыми Возрождение, если можно так выразиться, было обращено в грядущее, к нам, о ценностях, которые так или иначе созвучны современному мироощущению; во втором случае — о ценностях, которые дошли до нас только как «исторические окаменелости», как объекты «археологии».

Восхищенные и увлеченные тем новым «мыслительным материалом», которым гуманизм, в частности в интересующей нас области, обогатил духовную жизнь европейских народов, мы склонны подчас забывать о глубокой противоречивости и мозаичности этой культуры, о громадном удельном весе в ней субстрата традиционного, унаследованного от средневековья в мышлении, в представлениях об окружающем мире: о природе, истории и т. д.<sup>5</sup> Точно так же мы не задаем себе вопроса, в какой мере и какими своими сторонами ренессансное мировидение было представлено на различных ступенях общественно-культурной лестницы или, иначе, как по этим ступеням распределялась причастность к тому действительно новому, что содержалось в умственном движении, именуемом Возрождением. Отсюда уже легко заключить, что и так называемый стереотип ренессансного мировидения, в частности мировидения тюдоровской эпохи, был отнюдь не односложным ни по способу отражения окружающей человека действительности, ни по сути отраженного. Во всяком случае, анализ общественного сознания тюдоровской Англии обнаруживает в нем тесное переплетение религиозного и рационального начал, элементов знания и суеверия, преклонения перед авторитетами и скептицизма, слепого общественно-политического конформизма и острой социально-политической критики. Разумеется, соотношение этих элементов в сознании различных общественных классов и слоев было совершенно различным. И тем не менее можно вычленил элементы «общепринятого», нормативного, что составляло своего рода интеллектуальный стереотип эпохи.

Содержание этого стереотипа свидетельствует о том, что перед нами мировоззрение, еще полностью укладывающееся в рамки феодально-сословного строя. Так, в плане общественно-политическом оно не выходило в своих устремлениях за границы требований «реформ» и «улучшений». Разумеется, деятели Возрождения сделали немало, чтобы выставить на всеобщее осмеяние пороки современного им общества, тем не менее они все еще лелеяли мечту его «исправить», «очистить», «исцелить». Свою задачу они видели в интеллектуальном и этическом обновлении существующих порядков и путь, ведущий к цели, усматривали в просвещении власть имущих. Разумная вера — в делах церкви, разумный правитель — на вершине власти, распространение античной образованности — среди магистратов. Словом, от ренессансного мировидения отнюдь не веяло

революцией, оно многое в существующих общественных порядках осуждало, но в целом их не отвергало. Наоборот, в сфере практической политики оно исходило из них как из единственно возможной основы всех изменений<sup>6</sup>.

Недаром же тезис об «аристократии духа» был взят на вооружение феодальной аристократией, равно как и идея просвещенного монарха сослужила хорошую службу теоретикам тюдоровского абсолютизма.

Множеством фактов из истории тюдоровской Англии можно проиллюстрировать внутреннюю противоречивость духа английского Возрождения. Ограничимся лишь несколькими примерами.

Хорошо известно, что аристотелевско-птолемеевский мир в XVI в. до основания потрясли открытия Николая Коперника. Однако многие гуманисты не только елизаветинской Англии, но и позднее, вплоть до Мильтона, не желали расставаться с миром привычным, хотя и ставшим анахронизмом. Для абсолютного же большинства их современников именно этот мир в течение длительного времени и представлялся единственной реальностью. Характерно не только то, как долго ошибочное и истинное сосуществуют в сознании века (при абсолютном перевесе первого), но и то, что сама открывшаяся истина, стремясь обрести «моральную силу», «выдает себя» лишь за возвращение к истине более древней. Так, в 1576 г. англичанин Томас Дипс опубликовал схему солнечной системы по Копернику, озаглавив ее: «Полное описание небесных орбит согласно наиболее древним доктринам пифагорейцев».

Другой пример. Хотя учение о двух истинах — истине веры и истине разума (с соответствующим разделением сфер познания на божественную и человеческую) — имело уже за собой вековую историю, тем не менее в начале XVII в. Уолтер Рэли, автор знаменитой «Всемирной истории», все еще рассматривал ссылку на божественное провидение как самое глубокое и единственно надежное объяснение всех превратностей в исторических судьбах народов.

Поистине двуликим Янусом глядит на нас XVI век — в большом и малом, на вершине социальной пирамиды и у ее основания, во всех проявлениях человеческого духа; и действия<sup>7</sup>.

### **Картина мироздания**

Как уже отмечалось, общественное сознание XVI в. включало обширные области, которые были в какой-то мере «общим достоянием» всех современников, независимо от их сословной принадлежности, степени образованности, личной одаренности. Если отвлечься от основных догм веры, то в поисках таких областей следует прежде всего обратиться к картине мироздания, господствовавшей в XVI в. (и вплоть до XVIII в.). Однако прежде чем последовать в этом направлении, заметим, что огромное внимание к вопросам мироздания в XVI в. диктовалось, конечно же, не одними естественнонаучными интересами, равно как и не праздным любопытством, а являлось выражением насущной социальной потребности: оно диктовалось специфическими условиями социальной ориентации человека того времени.

Может показаться малоубедительным утверждение, будто для того, чтобы человек XVI в. был способен сколько-нибудь уверенно действовать, отдаваться повседневным занятиям, стойко переносить удары судьбы и т. п., ему требовалось знать, как устроена Вселенная, какое положение человек занимает среди божьих творений, каким образом он связан с планетами и звездами, как устроено общество и какое место определено ему в этой системе и т. д. Но это действительно так. Два обстоятельства мешают нам увидеть жгучую актуальность этих и подобных им вопросов для подданных королевы Елизаветы. Прежде всего современная нам картина мира намного более дифференцирована, чем картина XVI в., и необъятна. В результате чего мы не замечаем, что обычно вынуждены

«обходиться» только частью этой картины, тогда как человеку XVI в. требовалась вся картина.

Но, пожалуй, еще важнее для понимания нашего скептицизма в указанном вопросе — существенное различие в способах осмысления окружающей действительности. Дело в том, что человек той поры мыслил целостностями столь же универсальными, сколь мизерными были его действительные знания о них. Часть он мог воспринять только через посредство целого, в неразрывной связи с ним, через него. В известном смысле это было мышление синтетическое, основанное на ассоциациях. Так, свое положение в собственном доме он мог уяснить через положение короля в государстве, и наоборот. Чтобы судить, насколько «правильно» устроено общество, ему необходимо было знать, как устроен мир растений, какие порядки существуют в мире животных, как взаимодействуют планеты<sup>8</sup>.

Таким образом, если человек XVI в. интересовался тем, какое положение занимает Солнце среди планет, то это вовсе не значит, что он был «любителем астрономии». Наоборот, мы будем ближе к истине, если допустим, что в большинстве случаев его занимал вопрос другого рода: на чем, например, основано право короля требовать от подданных уплаты налогов и т. п.? Пожалуй, никогда еще мысль о том, что все в мире взаимосвязано, не пользовалась столь всеобщим и чаще всего неосознанным признанием, как в XVI в.

Каким же рисовалось мироздание Шекспиру и его современникам? Прежде всего они видели картину предельно наглядную, наподобие начертанной на бумаге схемы. Поэт XVI в. Эдмунд Спенсер в «Гимне небесной красоте» призывал: «Смотри на план этой необъятной Вселенной и читай в нем...»<sup>9</sup>. Однако гораздо чаще Вселенная представлялась им «цепью» или лестницей, спускающейся от подножия божественного трона на небе до ничтожнейшего творения на земле. Каждое звено (или ступень ее) олицетворяло род творения. Если рассматривать эту цепь от основания до вершины, то мы будем постепенно переходить от так называемых первичных элементов, из которых состоит все сущее — земля, вода, огонь и воздух, к неодушевленным (растительному и животному миру, к человеку, от него — к ангелам различных степеней и «рангов» и, наконец, — к богу).

Таким образом, мир казался «упорядоченным» по восходящей линии — от воплощений чистой материи к воплощению чистого духа и разума. Если же мысленно проделать тот же путь в обратном направлении, то вместо приближения «творения к творцу» мы станем свидетелями его отдаления и разъединения. Эта так называемая великая цепь бытия символизировала господство строгой иерархии атрибутов. Миру неорганическому (как бы мы теперь сказали) присущ был лишь один атрибут — существование; миру растений, помимо атрибута существования, еще свойствен атрибут питания; миру животных, кроме того, — атрибут ощущения, наконец, миру человека — еще и атрибут разума. Именно поэтому человеку принадлежало особое место в описанной системе мироздания. Он связывал воедино оба его начала — духовное и материальное. Таким образом, в этой цепи нет перерывов, нет «пропусков», в каждом ее звене также существует своя иерархия, и каждая верхняя ступень одного звена непосредственно примыкает к нижней ступени звена, находящегося под ним. Знают иерархию не только первичные элементы (огонь — высшая их ступень), растения и животные, но и люди и «ангелы». Все в подлунном мире распределено по ступеням, «чинам», «рангам».

Заметим, что истинный смысл этого мироздания составляла унаследованная от иудео-христианской древности и модифицированная в средние века идея геоцентрического строения Вселенной: в своем безграничном разнообразии мир един не только как творение одного творца (в едином творце), но во взаимосвязанности творения как целого. Этот мир изначален и конечен как строго фиксированная иерархическая система атрибутов божественных творений — он не знает движения, истории. Олицетворяя

«неисповедимую мудрость божественного плана», он нерушим. Как же возникла эта «цепь бытия»?

У Мильтона мы находим следующую картину «начала мироздания». Темный безграничный океан без конца, без измерений, где длина, ширина и высота, а также место и время исчезли, где царит древнейшая ночь и хаос — вечное смятение и непрерывная борьба четырех элементов в их первобытном состоянии: горячий — холодный — влажный — сухой. То один из них, то другой одерживает верх, однако это дело случая и сопровождается только ростом замешательства. Ни моря, ни суши, ни воздуха, ни огня, и вместе с тем все это есть, но перемешано, хаотично, в состоянии вечного конфликта.

Лишь в акте творения враждебность элементов превратилась в согласие, появились земля, вода, огонь и воздух. Каждый из этих элементов обладал двумя атрибутами: земля — холодная и сухая, вода — холодная и влажная, воздух — горячий и влажный, огонь — горячий и сухой. Как и все остальное, элементы были упорядочены в иерархию: земля — вода, воздух — огонь<sup>10</sup>. С тех пор элементы больше не находились в конфликте, что стало предпосылкой создания всего неодушевленного и одушевленного мира, в свою очередь упорядоченного и надлежащим образом связанного друг с другом в соответствии с внутренними качествами каждого. Почти за 200 лет до Мильтона этот порядок образно описал известный юрист Джон Фортескью. «В этом устройстве ангел помещен над ангелом, чин над чином — в царстве небесном; человек помещен над человеком, животное над животным, птица над птицей, рыба над рыбой... таким образом, нет ни червя на земле, ни птицы в вышине, ни рыбы в глубине, которые в цепи бытия не связывались бы в наиболее гармоничном сочетании. Нет творения, которое не отличалось бы в каком-либо отношении от всех других творений и потому не стояло бы выше или ниже другого...

Итак, [во всей Вселенной] нет ничего, что не было бы охвачено связью порядка»<sup>11</sup>.

Мысль об иерархичности мирового порядка проходит через все описания «великой цепи бытия». Со времени христианского неоплатоника Дионисия Ареопагита (V в.) основой иерархии признавалась «степень благородства», данная раз и навсегда: вода — благороднее земли, золото — меди, рубин — алмаза и т. д. В живой природе «степень благородства» передается по наследству. Перед нами удивительный по яркости пример объективизации, «опрокидывания» господствовавшего в обществе сословно-иерархического строя на окружающую действительность, интерпретация мироздания по образу и подобию общества, иллюстрация роли «аналогий» в мышлении в эпоху предшествовавшую возникновению опытного знания.

Очевидно, что картина мироздания, воплощенная в образе «цепи бытия», поразительно статична, изображенный в ней порядок извечен и конечен. Наконец, поскольку из этой картины устранены факторы, несущие в себе угрозу расшатать исконный порядок, то иерархия — единственная возможность упорядочить в «единое целое» безгранично разнообразную и необъятную в своем разнообразии действительность. Если богатство форм сущего олицетворяло в глазах приверженцев «цепи бытия» «щедрость» творца, то иерархическое соподчинение этих форм воплощало его «неисповедимую мудрость». Идеологическая же функция концепции лежит на поверхности: отношения господства и подчинения выступают в ней как соподчинение, отношения зависимости — как взаимозависимость и взаимоподдержка. Растения питаются элементами неживой природы, животные питаются растениями, человек — теми и другими. Что касается общества, то и там все происходит к «общей и взаимной выгоде».

Шекспир почти буквально воспроизвел обрисованную картину мироздания. Она отразила господствующий стереотип современного ему сознания, и не только в Англии.

Сопоставим отрывок из ученого сочинения современника Шекспира — Жана Бодена (сознание элитарное), фрагмент из тюдоровского сборника «увещаний», предназначенных для прихожан любой деревенской церкви (сознание массовое), и знаменитую речь Улисса из трагедии Шекспира «Троил и Крессида».



В трактате «О государстве» Боден писал: «Если мы обратимся к особенностям природы... земных творений... то обнаружим постоянную, гармоническую связь, которая соединяет антиподы нерасторжимыми узами... Так, мы видим, что земля и камни соединены глиной и известью... Камни и растения также соединены различного рода кораллами, являющимися как бы каменными растениями, поскольку они живут и способны расти. Между растениями и живыми существами находятся зоофиты (или животные-растения), наделенные ощущениями и движениями, но питающиеся корнями. Между животными на суше и теми, что живут в воде, находятся земноводные... Между рыбами и птицами находятся летающие рыбы. Между человеком и животными находятся обезьяны (если только мы не согласимся с Платоном, поместившим на это место женщину). Между животными и ангелами бог поместил человека, частично смертного и частично бессмертного, связующего этот материальный (низший) мир с миром небесным (божественным)»<sup>12</sup>.

Нетрудно убедиться, что в этой концепции доминируют три основные идеи: идея полноты мироздания, олицетворение щедрости «творца», идея качественной иерархичности сущего, градуированности мира (олицетворение идеи целостности и взаимозависимости частей творения), наконец, идея непрерывности (олицетворение постепенности переходов от низшего к высшему). Каждая следующая ступень имеет нечто, объединяющее ее с предшествующей, и одновременно атрибут, разъединяющий их и потому связывающий со следующей. Человеку в этой иерархии отведено особое место: он — связующее звено между антиподами — чисто материальными и чисто духовными сферами мироздания. Он — конечная цель творения — все это как две капли воды похоже на то, что мы читали у Дж. Фортескью (XV в.) и Дж. Мильтона (XVII в.).

Наконец, в «увещаниях», предназначенных для простонародья, все эти принципы слились в идею целесообразности и совершенства мироздания. Мы читаем: «Всемогущий бог создал и упорядочил все вещи на небесах, в воде и на суше в наиболее совершенном и превосходном порядке. В небесах он учредил различные степени архангелов и ангелов... Воды удерживаются и проливаются дождем в надлежащее время. Солнце, Луна, звезды, радуга, гром, молния, облака, птицы в воздухе сохраняют предписанный им порядок. Земля, деревья, злаки и травы и все виды животных сохраняют также свой порядок, времена года — зима, лето, месяцы, ночь и день сменяются также в надлежащем порядке»<sup>13</sup>.

Наконец, обратимся к Шекспиру.

На небесах планеты и Земля  
 Законы подчиненья соблюдают,  
 Имеют центр, и ранг, и старшинство,  
 Обычай и порядок постоянный.  
 И потому торжественное Солнце  
 На небесах сияет, как на троне,  
 И буйный бег планет разумным оком  
 Умеет направлять, как повелитель,  
 Распределяя мудро и бесстрастно  
 Добро и зло. Ведь если вдруг планеты  
 Задумают вращаться самовольно,  
 Какой возникнет в небесах раздор!  
 Какие потрясенья их постигнут!  
 Как вздыбятся моря и содрогнутся  
 Материки! И вихри друг на друга  
 Набросятся, круша и ужасая,  
 Ломая и раскидывая злобно  
 Все то, что безмятежно процветало  
 В разумном единенье естества.

*«Троил и Крессида», I, 3*

Перед нами замечательное по яркости и лаконичности поэтическое отражение той же господствовавшей в сознании современников Шекспира картины мироздания. Иными словами, Шекспир здесь излагает столько же «общепринятую истину» эпохи, сколько и свои «личные» воззрения. Уже в первых четырех строчках даны во взаимосвязи все составляющие «великой цепи бытия». Вот они: «На небесах планеты и Земля законы подчиненья соблюдают, имеют центр, и ранг, и старшинство, обычай и порядок постоянный».

Здесь все: и основные сферы бытия, и иерархический строй, и незыблемость мирового порядка, и взаимосвязанность его элементов. Однако Шекспир гораздо глубже своих современников раскрыл социальный подтекст анализируемой концепции, присовокупив к ней другой стереотип эпохи — предостережение относительно губительных последствий восстаний против предустановленного порядка. Соблюдение этого порядка рассматривалось как соблюдение «законов природы», единых для всего сущего. Не только их нарушение, но даже отклонение от них в помыслах грозило неминуемым воцарением вселенского хаоса<sup>14</sup>.

Этот подтекст редко комментируется в ученых трактатах, но зато составляет суть концепции «цепи бытия», если ее излагают в литературе для простонародья.

В последнем случае суть увещания ясна:

...Ведь если вдруг планеты  
Задумают вращаться самовольно,  
Какой возникнет в небесах раздор!  
Какие потрясения их постигнут!

*Там же.*

Очевидно, что перед нами всего лишь поучительная аллегория, иносказание, что в действительности все время имеется в виду человек, которого наставляют на «примере» планет. Об этом, кстати, свидетельствует совершенно неожиданный переход от «небесной механики» к делам человеческим:

...Как могли бы,  
Закон соподчиненья презирая,  
Существовать науки и ремесла...

*Там же*

С этой точки зрения принципиальное значение приобретало общепринятое понятие соответствия надстроенных друг над другом звеньев «цепи бытия». Как уже отмечалось, все мироздание — иерархия степеней — в зависимости от полноты проявления того атрибута, который являлся для данной ступени определяющим. Так, верхнюю ступень среди камней занимал рубин, среди металлов — золото, среди растений — дуб, среди животных — лев (или слон), среди рыб — дельфин (или кит), среди птиц — орел, среди людей — король и т. д. Отсюда следовал и порядок сравнений ступеней одного «плана» со ступенями другого. Так, например, если речь шла о короле, то «допустимыми» сравнениями могли быть: солнце (среди светил), орел (среди птиц), лев (среди животных) и т. д. Опираясь на идею «соответствия», строение микрокосма (человека) сравнивали со строением Вселенной — макрокосма, структуру общества (политического тела) — со строением человека и т. д.

Томас Старки, автор известного «Диалога» (1533— 1536), мыслил типичными для XVI в. категориями, когда писал: «Политическое тело имеет части, напоминающие части тела человеческого, из которых для нашей цели наиболее важными являются: сердце, голова, руки и ноги. Сердцем его является король, принц, правитель государства. Ибо так же, как весь разум, способности, чувства, жизнь и все другие естественные силы,

проистекающие из сердца, точно так же от правителей государства зависят все законы, порядок и политика, все правосудие, доблесть и достоинство всего остального политического тела»<sup>15</sup>.

Между различными «планами соответствия» созвучие столь велико, что стоит где-нибудь в одном из звеньев «великой цепи» нарушиться порядку, как немедленно, подобно эху, дисгармония и замешательство разливаются по всей Вселенной, всем ее сферам. Так, к примеру, солнечные затмения пророчат бедствия всему живому на земле, они вызывают землетрясения, наводнения, ураганы и ливни.

В свою очередь, если порядок нарушен в человеческом обществе, на него немедленно «откликаются» небеса и земные недра. Так, мы узнаем, что, когда Макбет вероломно убил гостившего у него короля Дункана,

Какая буря бушевала ночью!  
Снесло трубу над комнатою нашей,  
И говорят, что в воздухе носились  
Рыданья, смертный стон и голоса.  
*«Макбет», 11, 3*

И далее по тому же поводу:

Пророчившие нам годину бедствий  
И смут жестоких. Птица тьмы кричала  
Всю ночь, и, говорят, как в лихорадке,  
Тряслась земля.  
*Там же*

Гляди: смутясь деяньями людскими,  
Кровавый их театр затмило небо.  
Часы показывают день, но тонет  
Во мгле светило. Ночь ли всемогуща  
Иль стыдно дню, но, лик земли скрывая,  
Мрак не дает лучам лобзать его.  
*Там же, 4*

Столь же «чутко» реагировали на неслыханные злодеяния Макбета животные:

А кони короля..  
Взбесились в стойлах,  
Сломали их и убежали, словно  
Войну с людьми задумали затеять.  
*Там же*

Более того, «планы соответствия» реагируют не только на деяния, ломающие космический порядок, они столь же бурно откликаются даже на замыслы подобных нарушений.

Макбет.  
Пусть даже ваш ответ принудит вихрь  
Сраженья с колокольнями затеять,  
Валы — вскипеть и поглотить суда,  
Хлеба — полечь, деревья — повалиться,  
Твердыни — рухнуть на голову страже,  
Дворцы и пирамиды — до земли  
Челом склониться..  
*Там же, IV, 1*

Поскольку же наибольшая опасность внести смятение в мирный порядок исходит от человека, то естественно, что все предупреждения о возможных последствиях адресуют ему. К тому же он один обладает разумом и поэтому поставлен провидением в решающем звене, смыкающем воедино мироздание. Человек не только венец творения, он определенным образом за него в ответе, за сохранение его чистоты, полноты, и совершенства.

Труженикам Англии без конца напоминали и «разъясняли», что человек не есть нечто само по себе сущее, что он включен в космическое целое как органическая часть его иерархии, поэтому он ни в коем случае не должен себя выделять и противопоставлять остальному творению. Закон и порядок единый для всего мироздания. И такие уроки увещания были как нельзя более кстати в XVI в., когда Англию сотрясали мощные народные восстания, направленные именно против того общественного порядка, который веками представлялся божественным, вселенским и незыблемым.

### **Картина общественного устройства**

Обратимся теперь к тому звену «великой цепи бытия», которое олицетворялось человеком, и попытаемся выяснить, какими рисовались Шекспиру и его современникам всех сословий существующие общественные порядки.

Они представляли общество в виде «пирамиды», «лестницы», «горних вершин» и «долин», т. е. как нечто строго иерархическое, как совокупность соподчинений «рангов» и «чинов». Естественно, вершины отводились князю, королю, а все остальное общество располагалось у подножия трона по нисходящей: принцы крови, герцоги и графы, рыцари и сквайры, ремесленники и пахари. Король считался не только наместником бога на земле, но живым воплощением божественного начала среди людей, олицетворением силы чудесной, сверхчеловеческой. Король в обществе выполнял ту же функцию, какая отводилась создателю во Вселенной: он сплачивал общество в единый организм. Это даже не личность, а воплощение целостности государства и единства народа, общества как такового, гарант здоровья «политического тела», нормального и согласованного функционирования всех его членов, источник «добра, справедливости, мира и согласия».

Призвание короля осмысливалось как живая связь между земным и небесным, обычным и чудесным — одним словом, как концентрированное выражение чудодейственных сил бытия народа. Это нашло отражение в той философии королевской власти, которая вложена в уста Ричарда II:

Все воды моря бурного не смоят  
Елей с помазанного короля;  
Не свергнет человеческое слово  
Наместника, поставленного богом.

*«Ричард II», III, 3*

Король находится под специальной защитой господ. Поэтому ему не страшны ни интриги, ни мятежи врагов: ведь враги короля — враги и господ.

За каждого бойца, что Болингброком...  
Противу нашей золотой короны,  
Бог Ричарду по ангелу пошлет;  
Где ангелы сражаются со славой,  
Падут злодеи: бог стоит за право.

*Там же*

В утверждении святости не только королевской власти, но и личности ее носителя, его прямой причастности к провидению следует видеть то новое, что идеология

абсолютизма внесла в истолкование природы королевской власти. В самом деле, в средние века могущество короля измерялось тем же, чем и могущество любого барона,— числом его вассалов. В то же время притязания папской власти на «посредничество» между богом и светским государем «оттесняли» последнего от небес. В уста Ричарда II Шекспир вкладывает не средневековую, а абсолютистскую концепцию королевской власти. Оказавшись без войска перед грозной армией мятежника Болингброка, Ричард восклицает:

Я позабыл себя. Иль не король я?  
 Очнись, трусливый венценосец!  
 Спишь ты? Иль имя короля не то же значит,  
 Что двадцать тысяч воинских имен?..  
 Высокой славе нашей королевской  
 Лишь жалкий подданный грозит...  
 Любимцы наши — иль мы не велики?

*Там же*

Обратим внимание на настойчивое подчеркивание величия и могущества королевского имени, одного только имени и сана. В нем, по убеждению Ричарда, мистическая сила власти его носителя. Точно так же и Лир, отказавшись от всех реалий власти и оставив себе одно лишь королевское имя, тем не менее убежден сам и требует того же признания от других: «Я король, в каждой своей частице — король».

Этой чудодейственной силе носителя короны в идеале должен соответствовать его физический облик. Вот каким Гамлету видится этот идеал (олицетворявшийся его отцом):

...Как лицо прелестно это:  
 Лоб Зевса и Гипериона кудри,  
 Глаз Марса повелительный и строгий,  
 Стан вестника Меркурия, когда  
 Коснется он заоблачных вершин.

*«Гамлет», III, 4*

По принципу «соответствия и подобия» король то и дело сравнивается с солнцем, орлом, львом и т. д.

Вот, вот король сам, Ричард, появился:  
 Так красное разгневанное солнце  
 Из огненных восточных врат выходит...

И еще:  
 Он смотрит королем: его глаза  
 Огнем сверкают, словно взор орлиный,  
 Полны величия.

*«Ричард II», III, 3*

Естественно, что в данном случае блеск и величие королевского сана получили наглядное, физическое выражение. К этому присовокуплялся мотив патриархальный: король — отец, подданные — его дети. Идеальный король — олицетворение мудрости и всеведения, он чужд гордыни, по-отечески добр и справедлив.

Вот как обрисован «эталон» такого короля — Генрих V:

Послушайте, как судит он о вере,—  
 И в изумленье станете желать,  
 Чтобы король наш сделался прелатом.

Заговорит ли о делах правленья,—  
 Вы скажете, что в этом он знаток.  
 Войны ль коснется, будете внимать  
 Вы грому битвы в музыкальных фразах.  
 Затроньте с ним политики предмет,—  
 И узел гордиев быстрее подвяжи  
 Развяжет он...  
 Непостижимо, где обрел он мудрость.  
*«Генрих V», I, 1*

Наконец, король — источник закона и не подлежит суду земных властей, над ним лишь бог судья. Если король порочен, если он тиран, то и в этом случае не подданным его судить, их долг — послушание. Это провидению угодно ставить над народом таких королей — в наказание за грехи его. Короли отчитываются на небесах.

Об этом говорит герцогине Глостерской герцог Гант (в ответ на призыв отомстить Ричарду II за смерть герцога Глостера):

То божье дело: заместитель бога,  
 Наместник и помазанник его —  
 Виновник этой смерти; за неправду  
 Пусть небо мстит; я ж дерзостную руку  
 Поднять не смею на его слугу.  
*«Ричард II», I, 8, 94*

О том же напоминает подданным Ричарда II епископ Карлейль:

Как может подданный судить монарха?  
 А подданные Ричарда — все вы.  
 Не выслушав, и вора не осудят,  
 Хотя бы он был явно виноват.  
 А божьего величия подобье,  
 Правитель, вождь, наместник, им избранный,  
 Помазаный, венчанный, полновластный,  
 Судим ли будет подданным и низшим?..  
*Там же, IV, I*

Таков отражавший торжество абсолютизма миф королевской власти, усиленно внедрявшийся тюдоровскими публицистами и англиканской церковью в общественное сознание и нашедший столь яркое поэтическое выражение в театре Шекспира, миф, который идеологи абсолютизма хотели бы превратить в «общенародный» культ королевской власти. Но если король — глава, то каково «политическое тело» — гражданское общество? Как функционирует оно под властью главы?

Приложение идеи «цепи бытия» к делам человеческим неизбежно приводило к апологии сословного строя как наиболее «естественной» формы общественной организации<sup>16</sup>. Гражданское общество может быть упорядочено только путем соподчинения «призваний». Точно так же как отдельные элементы не могут быть смешаны иначе, как в неравных пропорциях и при различной температуре, гражданские общества могут быть сохранены и управляемы лишь при соблюдении определенного неравенства. На вопрос о происхождении сословного строя современники Шекспира отвечали по-разному. Ссылались на различные способности людей, на заслуги, потребности государства и т. п., но чаще всего — на божественное провидение, всеобщность принципа неравенства, наконец, на «общественный договор». Нетрудно заметить, что все это — суждения защитников господствовавшего в тюдоровской Англии строя. Именно они формировали стереотип эпохи.

В 1509 г. приближенный покойного Генриха VII — Томас Дадли, оказавшись при его преемнике в каземате Тауэра, написал памфлет под названием «Древо государства». Стремясь заслужить «милосердие» Генриха VIII, Дадли создал апологию абсолютной монархии. В ней сословный строй Англии аллегорически изображен следующим образом. Государство — это большое и могучее дерево, питающееся пятью корнями и приносящее пять плодов. Корни олицетворяют абстрактные добродетели: любовь к богу, справедливость, верность, согласие и мир. От первого корня произрастает плод, вкушаемый всеми сословиями. Второй плод (из корня справедливости) — почетное достоинство, он предназначен для короля; третий плод (из корня верности) — процветание, его вкушает дворянство; плод, произрастающий из четвертого корня (согласия), — полезное спокойствие, он предназначен общинам; пятый плод (из корня мира) — добрый пример, предназначен духовенству.

Но пользоваться плодами древа сословия могут только при условии выполнения каждым из них своих обязанностей по отношению ко всем другим. Обязанность короля — сострадание (самому Дадли эта аллегория не принесла ожидаемого помилования: 17 августа 1510 г. он был обезглавлен); обязанность дворянства — защита государства; обязанность общин — добросовестный труд; духовенство же должно распространять доброту и веру. В этой аллегории обращает на себя внимание реализация принципа «взаимной полезности» и связанности сословий. Ни одно из них не может обойтись без другого. Примечательно, как Дадли увещевает общины (т. е. простолудинов) Англии: «Пусть эти люди не ропщут и не выражают недовольства по поводу того, что на их долю выпало жить в труде и большую часть времени проводить в поте лица своего. Никто из них не должен претендовать на положение более высокое». Все на земле и на небе происходит от всемогущего господина, и все к нему возвращается. Благодаря его промыслу общество организовано как иерархия различных сословий. Восстать, чтобы изменить свое место в этой иерархии, — значит совершить тяжкий грех. В этом, кстати, и заключался грех Адама. «Поэтому не замышляйте и не претендуйте на равенство со знатью, ссылаясь на общую с ней родословную от Адама»<sup>17</sup>.

Опираясь на «параллель» между «телом» государства и «телом» человека, сословный строй тюдоровской Англии защищал и автор «Диалога между кардиналом де ля Поль и Томасом Люпсетом» (1536) Томас Старки. Если король представляет «главу» государства, то «тело» его составляют «масса народа», подданные. «Тело» государства является сильным, когда его «члены» (сословия) четко и слаженно выполняют свои функции.

Перед нами образец «органической» концепции государства: сила «политического тела» зависит от способности каждой его части выполнять свои функции и назначение. Сердце этого организма — король или правители государства (если их более одного); голова, глаза, уши и другие органы чувств — королевские должностные лица; руки — это ремесленники и воины, которые защищают остальные части тела и производят необходимые им изделия; ноги — это пахари и земледельцы, потому что своим трудом поддерживают и питают остальных. Ни одно государство не может процветать, если его члены не заботятся больше об общем благе, чем о частной пользе. Последнее же достигается тем, что все члены «политического тела» трудятся совместно и в согласии, каждый выполняя свою обязанность.

Томас Элиот, автор наставления по вопросам воспитания, усматривал суть всякого порядка в различиях состояний. Никто и ничто не может существовать обособленно, а только во взаимосвязи; в сословной иерархии выражена зависимость одних от других. Без рангов, т. е. деления на высокое и низкое, общество не может быть устойчивым. Бог не наделил всех одинаковыми способностями, а дал одним их больше, нежели другим. Поэтому люди не могут быть одного состояния, равными в обществе. Тот, кто превосходит других разумом, должен содержаться за счет труда других в соответствии с его заслугами. Землепашец кормит себя и сукнодела, сукнодел одевает себя и

земледельца, оба они содержат правителей, правители служат им своими способностями<sup>18</sup>. Такова стереотипная формула сословных градаций в обществе. Элиоту вторит его современник Джон Чик. В каждом государстве одни должны управлять, другие — подчиняться, ибо люди не в равной степени мудры. И как вывод: со стороны простолюдинов — безумие стремиться изменить свое состояние. Только дух спеси может внушить им, будто они из того же теста, что и лучшие.

Однако каждое сословие полезно только «на своем месте», в рамках отведенной ему функции, а функции эти не взаимозаменяемы, а «взаимодополняемы». «Горшечник и штукатур, знающие только свое ремесло, мало что сделают при отправлении правосудия. Пахарь или возчик вряд ли смогут ответить, почему ткач и валяльщик непригодны в качестве военачальников или для должности любого другого управляющего»<sup>19</sup>.

Нет сомнения, что все аспекты рассмотренного стереотипа были хорошо знакомы Шекспиру. Если в «Кориолане» (I, 1) мы находим почти точную аналогию концепции Старки, то в пьесе «Генрих V» архиепископ излагает более «оригинальную» версию той же концепции:

Недаром в государстве  
Труды сограждан разделило небо,  
Усилия всех в движенье привело,  
Конечной целью смертным указав  
Повиновенье. Так трудятся пчелы,  
Создания, что людную страну  
Порядку мудрому природы учат.  
У них король и разные чины:  
Одни, как власти, управляют ульем,  
Ведут торговлю вне его другие,  
А третьи с острым жалом, как солдаты,  
В набегах грабят пышные цветы  
И весело летят с добычею  
В палату властелина своего;  
А он, сосредоточен, величав,  
Следит, как рой строителей поющих  
Возводит дружно своды золотые.  
Заготавливают горожане мед,  
И бедные носильщики толпятся  
С тяжелой ношей в тесных воротах;  
Так вещи однородные в основе  
Свершаться могут разными путями...  
Как много рек в одно впадает море,  
Как в центре диска многих линий встреча...

*«Генрих V», I, 2*

В этой аллегории происхождение сословного строя объясняется промыслом божьим, его суть — разделение необходимых для блага целого функций между отдельными членами общества, его принцип — взаимная полезность и взаимное служение, его результат — «общее благо», полная удовлетворенность сословий своим положением, особенности эта удовлетворенность подчеркивается у сословий, которым «небом» предписаны трудовые функции: ведь поют не «властелин улья» и «управляющие», а пчелы-строители. Наконец, сословное деление — универсальный способ объединить разрозненное «множество в согласное целое». Однако, помимо традиционных элементов, в этой версии «справедливого» общественного строя обращает на себя внимание следующее: сословный строй общества — «звено» от века существующего «вселенского порядка» — находит полное соответствие в природе и в качестве такого оказывается единственно возможным и разумным.



Проповедь социального повиновения в господствовавшей в тюдоровской Англии «концепции» — едва ли не важнейшая цель общественно-политических трактатов и рассуждений, церковных проповедей и увещаний. Как уже подчеркивалось, в изложении натурфилософской концепции «цепи бытия» всегда имелся скрытый идеологический умысел. Однако он становится явным, когда авторы переходят к тому звену «цепи», в котором воплощается человеческое общество.

В «Проповеди о послушании» (1547) идея мирового порядка используется как орудие идеологического подавления растущего недовольства в народных низах. С этой целью монархический образ правления, иерархичность, сословность возводятся к «началу времен», ко всеблаготворности божественного творения. «Всемогущий бог» создал и распределил все вещи в небе, на земле и в воде в наиболее совершенном и превосходном порядке,

И после описания этого «порядка» среди ангелов и небесных светил, животных, рыб и растений составитель проповеди переходит к обществу. Каждый ранг согласно своему призванию и своей должности исполняет предписанные ему обязанности. Некоторые находятся на высокой ступени, другие — на низкой, некоторые являются королями и правителями, другие подчиненными и подданными. Священники и миряне, хозяева и слуги, отцы и дети, мужья и жены, богатые и бедные, и каждый нуждается в другом. Так что во всех вещах должно возносить хвалу божественному порядку, без которого ни дом, ни город, ни государство не могли бы существовать.

Стоит где-нибудь, в одном из звеньев цепи нарушиться порядку, как немедленно, подобно эху, дисгармония распространяется по всей Вселенной.

Включение общественного строя в космический порядок, доказательство полного соответствия человеческого обихода «божественному» плану во всех других надлунных и подлунных сферах отнюдь не были ни проявлением инерции схоластики, ни данью универсализму средневекового мировидения — в новых условиях они служили целенаправленной попыткой идеологического оправдания существующего в обществе порядка вещей.

О том, что именно так и обстояло дело, о том, сколь грозным было зрелище в стране недовольство, свидетельствует следующее место в анализируемой проповеди: «Ибо, где нет надлежащего порядка, там господствует всеобщее злоупотребление, животное начало, гнусность, грех и вавилонское столпотворение. Уничтожьте королей, принцев, правителей, магистратов, судей и им подобные чины божественного порядка, и никто не сможет появиться на большой дороге и не быть ограбленным, ни один человек не сможет мирно спать в своем доме и своей кровати и не быть убитым. Никто не сбережет в спокойствии своей жены и детей и владений, все вещи станут общими, вслед за чем необходимо последуют всякое зло, полное уничтожение души и тела, всех благ и государства»<sup>20</sup>.

Близко к этой проповеди в идейном плане увещание, которое мы находим у знаменитого англиканского теолога Ричарда Хукера. «Возможно ли, чтоб человек, будучи не только благороднейшим из творений в мире, но даже во Вселенной, в себе, нарушив закон своей природы, не приносил ущерба... Ибо мы видим, что весь мир и каждая часть его так созданы, что до тех пор, пока каждая выполняет ту функцию, которая для нее естественна, она этим сохраняет и других и себя»<sup>21</sup>. В то же время, если; какая-либо великая часть — Солнце или Луна, или одно из «небес», или элемент — перестанет выполнять свою функцию, то разрушит мироздание.

И как вывод: гармония в обществе заключается в том, чтобы стоящий на низшей ступени сословной лестницы; добровольно подчинился стоящему на высшей.

Но если такие писатели XVI в., как Дадли, Элиот, Чик, и авторы церковных увещаний излагали доктрину порядка явно односторонне, подчеркивая катастрофичность для общего блага «непослушания», исходящего от народных низов, то в пьесах Шекспира та же доктрина получила несравненно более многостороннее освещение. В ней свет и тень

перераспределены таким образом, что в равной степени губительным для государства оказываются нарушения порядка не только со стороны «общин», но и на любой из ступеней сословной иерархии. На самой ее вершине — на королевском престоле — последствия нарушений порядка показаны на примере королей Ричарда II и Ричарда III. К чему приводят нарушения в среде знати, можно увидеть в трех частях пьесы «Генрих VI». Роковые последствия господствующих на этой ступени честолюбия и властолюбия, зависти и интриг, равнодушия к страданиям народа и готовности к развязыванию гражданских усобиц — это в шекспировских хрониках не только мятежи знати (пророчества Карлейля в драме «Ричард II»), но и следующие за ними ужасы войны Роз (в «Генрихе VI»). Наконец, о «бессмысленности» народных мятежей должны были свидетельствовать сцены восстания Джека Кэда («Генрих VI», ч. II).

Как же преломляется тема «порядка» в освещении Шекспиром политики и этики знати? Знать при Тюдорах оставалась, разумеется, феодальной знатью. Но в эпоху Шекспира ей пришлось отказаться от прежних притязаний, она теперь удовлетворяла свое честолюбие в придворных интригах под сенью королевского суверенитета. Ее представители вместе с прежним престижем баронов королевства постепенно растеряли и представления о дворянской доблести и чести. Они теперь погрузились в «счетные книги», стремясь к увеличению любыми путями родовых доходов, не гнушаясь при этом любыми способами, заимствованными у буржуа, которых по-прежнему глубоко презирали. Вероломная, плетущая интриги, заискивающая, грозящая, политиканствующая — такой была эта знать, одна из опор тудоровского трона.

Этика английской знати в значительной степени составляет канву трагедии «Король Лир». Ведь содержание ее можно прочесть и как историю неблагодарности детей по отношению к родителям (образы дочерей Лира — Реганы и Гонерильи), отрицания права первородства (Эдмонд), нарушения дистанции между господином и слугой и т. д. Однако напрасно думать, что трагедия в восприятии зрителя XVI в. сводилась к роду «семейной хроники». Нарушение любой детали «порядка», малейшее отступление от его универсального принципа имеет универсальные последствия. Неблагодарность и вероломство детей такая же космическая катастрофа, как вероломное убийство законного венценосца («Макбет») или гражданская смута («Генрих VI»). Это недвусмысленно изложено в речи Улисса.

О, стоит лишь нарушить сей порядок.  
 Основу и опору бытия —  
 Смятение, как страшная болезнь,  
 Охватит все, и все пойдет вразброд,  
 Утратив смысл и меру. Как могли бы,  
 Закон соподчиненья презирая,  
 Существовать науки и ремесла,  
 И мирная торговля дальних стран,  
 И честный труд, и право первородства,  
 И скипетры, и лавры, и короны.  
 Забыв почтенье, мы ослабим струны —  
 И сразу дисгармония возникнет.  
 Давно бы тяжело дышащие волны  
 Пожрала сушу, если б только сила  
 Давала право власти; грубый сын  
 Отца убил бы, не стыдясь нимало;  
 Понятия вины и правоты —  
 Извечная забота правосудья —  
 Исчезли бы и потеряли имя,  
 И все свелось бы только к грубой силе,  
 А сила — к прихоти, а прихоть — к волчьей  
 Звериной алчности...

Когда закона мы нарушим меру,  
Возникнет хаос.

*«Троил и Крессида», I, 3*

Не ясно ли, что с точки зрения концепции «порядка» в мире нет мелочей, нет главного и второстепенного. Вселенская гармония зависит от соблюдения «соразмерности» в любом звене цепи бытия. В этом смысле почтение к отцу равнозначно почтению к государю. Нерушимость «права первородства» приравнена по важности к строгому движению планет по предначертанным орбитам. Как уже отмечалось, современники Шекспира осмысливали мир не только в образах «подобий», но во взаимосвязанности «состояний» вселенских «пропорций». Неблагодарность и вероломство дочерей Лира — такой же мятеж против порядка, как и восстание герцога Йоркского против власти Генриха VI. Обращение Корделии к сестрам: «Смотрите за отцом» («Король Лир», Г, 1) — для елизаветинцев звучало столь же весомо, как предупреждение Карлейля, адресованное лордам при низложении Ричарда II. И разве слова Эдмонда: «Я отверг проклятье предрассудков и правами не поступлюсь, пусть младше я, чем брат, побочный сын!» (там же, 2) — не были столь же кощунственны, как то, что Нортемберленд обращался к королю Ричарду, не преклонив колен.

В третьей сцене первого акта Гонерилья назвала отца «ребенком», чем перевернула мир «вверх ногами». Но то же по ее совету совершил слуга Освальд, когда на вопрос Лира: «Кто же я, сударь?..» — ответил: «Вы отец герцогини» (там же, 4), чем поставил дочь выше отца. Герцог Корнуольский, посадивший «человека» Лира (Кента) без его ведома в колодки, перечеркнул принятый в окружающем его обществе «порядок соподчинения».

Многозначен смысл сцены бури в третьем акте трагедии «Король Лир». Но нас интересует буря как символ сопряженности, наступления хаоса в различных звеньях «цепи бытия», в данном случае хаоса в микромире — семье, и разгула космических сил. С этой точки зрения безразлично, на чьей стороне эти силы, что в их разгуле выражено — возмущение против зла или само зло. Важно другое: по какому поводу приходят в движение космические силы. Но, может быть, бурей подчеркивается та истина, что в семье воплощается самое глубокое (из возможных для человека) потрясение основ общества как такового? Это несомненно так, но только с точки зрения этики. В сфере же политики основная угроза потрясений для елизаветинцев несомненно исходила от папства и испанцев, а внутри страны — от знати, с одной стороны, и низов — с другой. Типичная для правления Елизаветы атмосфера бесконечных внутренних заговоров и интриг, инспирированных Филиппом II Испанским и папой, долготелая угроза прямой испанской интервенции в Англию — все это переплеталось с напоминавшими о себе придворными интригами, местничеством и своеволием в среде знати и брожением в низах.

## **Глава IV**

### **ШЕКСПИР И ТЮДОРОВСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ**

Мы уже отметили, что исторические воззрения любой эпохи — одна из важнейших характеристик ее культуры. Особенность исторического сознания тюдоровской эпохи состояла в том, что оно приблизилось вплотную к догадке о существовании социального времени, т. е. что с точки зрения общественно-исторической непрерывное и безликое время подразделяется на «времена», «полосы», на обособленные периоды, каждый из которых имеет свой «клик». С момента возникновения цивилизации в распоряжении человека имелись два рода ориентирующих связей: 1) связи пространственные — семья (род), этнополитическая общность (племя, союз племен, государство), Вселенная (универсум), 2) связи временные — настоящее, прошлое, будущее. В разрозненном и

незавершенном виде представления о них обнаруживаются и в мышлении народов, не достигших ступени цивилизации. Однако и на стадии цивилизации эти связи далеко не сразу осознаются на протяжении всей цепи, а главное — как пересекающиеся. Последовательно историческим можно считать только тот тип сознания, в котором пространство и время предстают как «стороны» нерасторжимого единства (континуум). Эта ступень в эволюции данного типа сознания достигнута была лишь к середине XIX в., когда историческим содержанием наполнился не только «счет времени» в истории, но и сам человек стал исторически определенным, «человеком определенной эпохи».

Забегая несколько вперед, отметим, что историческое сознание Возрождения стояло еще на несколько ступенек ниже указанного уровня. Связи между индивидами (мы именуем их социальными связями) для него еще оставались неизменными, следовательно, и человек как общественный индивид также оставался вне истории. Но Возрождение в известной мере уже совместило категорию «общество» (правда, под названием «государство», «политическое тело») с течением истории и тем самым приблизилось к тому, чтобы различать отдельные общественно-исторические эпохи.

Исторические хроники Шекспира занимают особое место в его творческом наследии. С них, как известно, началось становление драматурга. И если его величайшие создания уводят нас далеко за пределы коллизий английской истории XIII—XVI вв., то это отнюдь не значит, что их анализ возможен в отрыве от той «школы историзма», которую прошел Шекспир в начальный период своего творчества<sup>1</sup>.

Известно, что среди западных шекспироведов есть ученые, отрицающие самостоятельность Шекспира как исторического мыслителя. В его исторических хрониках они находят лишь художественное отражение, «зеркало» политической конъюнктуры его времени либо расценивают их как своего рода драматургическое «переложение» тюдоровских «историй» и «хроник». Между тем очевидно, что Шекспир не смог бы даже приблизиться к воплощению столь грандиозного замысла — воссоздать историю Англии за целое столетие (и какое бурное столетие!), если бы он не стоял на вершине гуманистической исторической мысли своего времени, если бы он не был способен на критическое отношение к своим источникам. О степени самостоятельности Шекспира в данной области легко судить по тому, как свободно он ориентировался в сложной канве событий указанной эпохи, с какой безошибочностью отделял в тюдоровских «историях» — этих клубках невысказанных противоречий, этой мешанине здравых суждений и нелепостей — важное от тривиального, реальное от домыслов. Круг исторического чтения Шекспира был весьма обширен. Он явно не желал ограничиваться каким-то одним источником, даже таким полным, как хроника Холиншеда — самая пространная история Англии, Шотландии и Ирландии той поры. Шекспир, как известно, обращался также к Холлу и именно его хронику положил в основу первой (по времени создания) тетралогии. Помимо этого, он читал Стау, Фокса, «Зерцало для магистратов» и ряд других хроник, исторических пьес и поэм. Не вправе ли мы заключить, что художник, изучавший столь большое число источников, не ограничивал свою задачу одним лишь стремлением использовать театральные возможности исторических сюжетов?

Если оставить в стороне некоторые более ранние произведения, к примеру жизнеописание короля Генриха созданное в XV в. приглашенным в Англию итальянцем! Тито Ливием, то появление новой историографической школы следует отнести ко времени правления первых Тюдоров.

Эта «школа» формировалась под влиянием двух течений европейской исторической мысли: гуманистической и реформационного<sup>2</sup>. Первое из них было в XVI в. наиболее ярко представлено Макиавелли и Гвиччардини, второе — Меланхтоном и Иоанном Слейданом. Макиавелли первым обосновал тезис о важности истории для политической теории и практической политики. Он высказал удивление по поводу того, что охватившая его современников страсть обзавестись каким-нибудь древним «антиком» не сопровождается подобным же интересом к античной историографии, а между тем в ней

заклучено огромное количество сведений по вопросам государства и права, управления и судоговорения, ведения войны и регулирования мира. Современные государи, магистраты, юристы, военачальники терпят громадный ущерб от того, что это богатство не используется для практических нужд. В указанных областях классическая древность выработала схемы и методы, которые могут служить образцом для всех времен. Поскольку люди по своей природе не меняются (история повторяется!), история способна принести практическую пользу. Однако наибольшую ценность исторические знания все же имеют для нужд практической политики, поэтому они необходимы прежде всего тем, кто вершит ее. Цель истории, таким образом,— в извлечении полезных уроков, обучении на примерах прошлого искусству политики<sup>3</sup>.

То, что у Макиавелли было лишь намечено, получило развернутое обоснование в труде Жана Бодена «Метод для легкого изучения истории» (1566). Согласно Бодену, главное назначение истории также заключается в том, чтобы служить политике. Она должна помочь раскрытию сущности и функций государства, указать на то, что ведет его к расцвету, а что — к упадку. По мнению Бодена, изучение всемирной истории дает возможность сделать точные заключения относительно управляющих человеческим обществом законов, которые должны служить основой для учреждения в данных условиях лучшей формы правления<sup>4</sup>.

Значительное влияние на историческое мышление XVI в. оказала и Реформация. Мы уже отмечали причины, обусловившие глубокий интерес Реформации к историческому прошлому. Среди них на первом месте был интерес к раннему христианству. Неудивительно, что и на ниве историографии Реформация выступила преемницей и продолжательницей исторических воззрений блаженного Августина. Так, протестантские историки полностью разделяли его идеал христианского правителя и стремились превратить историю в своего рода зеркало для государей. Протестантские историки вслед за Августином делили всемирную историю в соответствии с «четырьмя монархиями», которые будто бы предсказаны пророком Даниилом как предшествующие концу мира. Наконец, и что самое важное, они использовали историю для доказательства решающей роли провидения в делах человеческих. В итоге и для Реформации история приобрела самостоятельную ценность — наряду с теологией. И церковная и гражданская история признавались ею лучшими наставницами, поскольку и та и другая учили политическим и моральным добродетелям. Характерно, что в этом каноне нашло свое место и античное наследие. Языческие историки выяснили, как возникли большие государства и по каким причинам они переживали кризис и упадок. Их труды содержали также предписания сословиям и властям, которыми государство скреплялось и сохранялось. Особое внимание обращали историки-протестанты на социально-охранительную функцию истории, которая показывает, какие опасности проистекают из попыток изменить правительство и насколько заговоры угрожают его существованию. Очевидно, что между гуманистическим и реформационным течениями исторической мысли было немало общего, и это естественно, если иметь в виду, что последнее в значительной степени формировалось на почве гуманизма и благодаря распространению возрожденной классической образованности. Вместе с тем нельзя не заметить, что указанные течения кардинально различались в подходе к основной проблеме исторического повествования — к истолкованию причинно-следственных связей.

Вкратце это различие можно сформулировать следующим образом: если обычно гуманисты рассматривали провидение как «последнюю», «конечную» причину исторических перемен и поэтому почти никогда к его помощи не прибегали, будучи поглощены поисками менее глубоких, т. е. чисто человеческих, причин исторических событий, историки-протестанты рассматривали божий промысел в качестве универсального, постоянного, вездесущего фактора исторических перемен, первопричины, проявляющейся во всех исторических событиях — больших и малых. Естественно, что в восприятии английских историков и хронистов XVI в. указанные два

течения исторической мысли оказывались чаще всего нерасчлененными, смешанными: гуманистическое видение предмета истории сопровождалось протестантским истолкованием событий и т. п. Яркой иллюстрацией этой специфики тюдоровского исторического мышления может служить трактат Томаса Бландевилля «Истинный порядок и метод писания и чтения истории» (1574). В нем автор объединил переложение (с итальянского) сочинений Франческо Патрици и Аконтинио Тридентини<sup>5</sup>. Одно из них содержало преимущественно гуманистическую философию истории, второе отражало преимущественно воззрения церкви на тот же предмет. В результате судьба человека, к примеру, оказывалась, с одной стороны, зависящей от внешней силы, прежде всего божественного предопределения, с другой стороны — от внутренних факторов, характера «актеров». Можно, однако, усомниться, заметил ли кто-либо из современников несовместимость позиций указанных авторов, превратившихся по воле Бландевилля в «единомышленников»<sup>6</sup>.

У истоков тюдоровской исторической традиции стоит основатель династии Тюдоров — Генрих VII (1485—1509). Он не только превратил писание истории в предмет особой государственной важности (предприняв шаги к написанию угодной династии истории Англии), но и заложил краеугольные камни того исторического мифа, который разрабатывался и совершенствовался в трудах нескольких поколений английских историков «тюдоровского века». Ядро этого мифа составили две идеи: 1) Генрих, граф Ричмонд (впоследствии Генрих VII) — богом призванный спаситель Англии от власти кровавого тирана Ричарда III, соединивший по воле провидения (своим браком с Елизаветой, наследницей дома Йорков) вечным союзом враждовавшие дома Ланкастеров и Йорков и положивший конец раздорам и смутам, столь долго терзавшим страну; 2) Тюдоры олицетворяют восстановление у власти национальной (древней британской) династии (в противовес пришельцам-англосаксам), поскольку они ведут свою родословную от прямых потомков легендарного короля Артура. Недаром же Генрих VII назвал своего первенца Артуром. Таким образом как бы утверждалось «двойное право» Тюдоров на престол (воля провидения и восстановление на троне древней династии)<sup>7</sup>.

Воплотить эти идеи в «Историю» Англии Генрих VII поручил итальянцу Полидору Вергилию, прибывшему в 1501 г. в Англию с папским поручением и оставшемуся здесь на долгие годы. Ему был открыт доступ ко всем государственным бумагам и архивам (сама потребность в которых свидетельствовала о приверженности гуманиста к документированным фактам). Первая из названных, идей была почти полностью реализована Вергилием, осветившим период истории от низложения Ричарда II вплоть до битвы при Босворте (1399—1485) в нужном для заказчика духе. Менее повезло второй идее — оказаться на одном генеалогическом древе с королем Артуром. «История Англии» Вергилия, написанная на латинском языке, не была опубликована вплоть до 1534 г. (полностью «История» завершена в 1551 г. и доведена до 1538 г.). Когда же она увидела свет, то оказалось, что Вергилий поставил под сомнение не только связь Тюдоров с древней британской династией, но — что самое важное — историчность всего рассказа о происхождении: этой династии<sup>8</sup>. Это обстоятельство возмутило многих английских антикваров, они выступили в защиту историчности полюбившейся им легенды и обрушились на «пристрастие» чужеземца, оказавшегося столь неблагодарным по отношению к гостеприимной стране. Тем не менее «История Англии» Вергилия в значительной степени повлияла на дальнейшее развитие английской историографии. Не только ее материалом, но, главное, способом истолкования фактов воспользовались все последующие составители хроник в Англии. Вергилию больше всего был обязан Эдуард Холл — автор первой «проблемной» исторической хроники, известной под названием «Союз двух благородных и достославных родов Ланкастеров и Йорков» (1548)<sup>9</sup>. Во многих случаях ее текст является простым переводом латинского текста Вергилия, однако Холл ни разу на это не указывает. Он переводит «кредо» «я думаю», разумеется, без кавычек. Иногда в порыве добросовестности Холл пишет: «некоторые историки

полагают», «думают». Однако и в таких случаях речь идет только о Вергилии, упомянуть которого он не решается по причине глубокой одиозности его имени. «Проблемной» эту хронику можно назвать не только потому, что она освещает вполне определенный и заверченный период — от низложения и убийства Ричарда II до начала правления Генриха VIII Тюдора, но прежде всего потому, что все события этого периода рассматриваются автором под одним углом зрения: насколько благотворным было для Англии воцарение Тюдоров, в какой мере оно было предопределено божественным провидением и подготовлено всеми событиями того времени. В этом смысле Холл действительно явился первым английским хронистом, занявшимся интерпретацией событий целой исторической эпохи. Если Томас Мор в дошедшем до нас отрывке «Истории Ричарда III» обнаружил удивительный дар драматизации истории, то Холл (почти полностью включивший «Историю» Мора в свою хронику) вслед за Вергилием увидел в истории моральную драму, сформулировал основания «торжества Тюдоров». При помощи пышной риторики читатель подводится к кульминации «божественного благословения» Англии — к правлению Генриха VIII. Вот образчик исторического письма Холла: «Какой ущерб был нанесен государствам бесконечными раздорами, какое опустошение было причинено сельским местностям гражданскими смутами, какие отвратительные убийства были совершены в городах отдельными кликами... Рим это почувствовал, Италия может подтвердить, Франция может засвидетельствовать, Богемия может рассказать, Шотландия может описать, Дания может показать и в особенности эта благородная страна Англия...». А вот как комментируется «счастливый союз» принцессы Елизаветы ж Генриха VII: «... союзом мужчины и женщины в таинстве брака благословляется потомство... Союзом брака торжествует мир между одной страной и другой и возвращается взаимная любовь. Какая польза, какое удовлетворение, какая радость воцарилась в стране упомянутым союзом двух благородных домов»<sup>10</sup>. Мы остановились столь подробно на особенностях хроники Холла потому, что она оказала большое влияние на трактовку событий XIV—XV вв. в хрониках Шекспира.

В 1559 г. было опубликовано так называемое «Зерцало для правителей» — собрание стихотворных трагедий на исторические темы<sup>11</sup>. Со временем «Зерцало» дополнялось новыми трагедиями. И в издании 1587 г. оно охватывало период от правления Ричарда II до царствования Генриха VIII. Основу каждой трагедии составляла судьба какой-либо исторической личности данного периода. Каждая трагедия сопровождалась прозаическим комментарием, который указывал, какой исторический урок из нее можно извлечь. Попутно высказывались замечания по самым различным вопросам политики, сословной этики, о задачах и истории и поэзии. Так, к примеру, в соответствии с концепцией «цепи бытия» вождь народного восстания Джек Кэд объясняет, что, влияя на «конституцию людей», планеты могут склонить их ум ко злу. В уста короля Генриха IV вкладывается следующая характерная сентенция: «Безумно и грешно отделять звезды от божьей воли, превращая их в первопричины, равным образом ничего не могут объяснить телесные соки». И как вывод: «Главная причина — воля божья, именуемая уделом и судьбой».

Особый интерес представляет комментарий к трагедии, посвященной судьбе Джека Кэда. В нем излагается доктрина, согласно которой послушание королю есть служение богу (при этом безразлично, о каком короле речь идет: порочном или добродетельном, ибо тот и другой — равно от бога, доброго короля бог посылает народу, которого желает возвысить, а порочного — как воздаяние за грехи), а далее следует «мораль», адресованная королям: хотя мятеж поднимается людьми по дьявольскому наущению, тем не менее господь обращает его во славу свою, используя как бич против тех, кто забыл бога, ибо если король допустил, чтобы подчиненные ему магистраты угнетали подданных злоупотреблениями, отказываясь при этом выслушать их жалобы, то восстание является актом справедливости божьей по отношению к государям, не пожелавшим выполнить

свой долг, Любопытны также рассуждения «Зеркала» (даются в нашем переводе) об исторической хронике, ее целях и задачах, о хронистах.

Хронист должен быть сведущим в различных языках,  
 Быть знаком с различными искусствами,  
 Чтобы быть способным видеть истину вещей,  
 Восполняя недостающее и исправляя ложное.

.....  
 Он должен уметь излагать соображения,  
 Чтоб связно рассказать о предмете,  
 Он не должен ни хвалить, ни хулить из-за  
 Расположения к кому-либо или пренебреженья;  
 Он должен ставить каждую вещь на свое место,  
 Чтобы подтвердить истинность истории.

И в другом месте:

Исторические писатели не должны ради славы,  
 Из-за страха или фавора скрывать истину вещей,  
 Однако до сих пор, как всегда прежде,  
 Расположение, страх или сомнения  
 Приводят к тому, что истории не могут быть правдивыми.

Бесплодный Фабиан \* (\* Лондонский хронист, автор так называемых «Новых хроник Англии и Франции», опубликованных анонимно в 1516 г.) скользит по поверхности

Времени и событий, оставляя без внимания причины.

Их добавил Холл, но с двойным смыслом\*\* (\*\* Под «двойным смыслом» подразумеваются, с одной стороны, постоянные ссылки на «божественное провидение» и, с другой - ссылки на «человеческие причины» тех же событий.),

Полагаю из-за страха, чтобы не столкнуться с бедой.

Так или иначе...

Но историки обходят причины

Или так их излагают, что оставляют в сомнении.

Однако, считая, что причины являются главной целью,

Которая должна преследоваться историком,

Чтобы люди могли узнать, к какому результату каждая причина приводит,

Те недостойны имени хронистов, кто не включает причины в свои летописи

Или сомнительно о них сообщает, ибо в этом заключается

Главная польза от чтения истории.

В этих строках изложена, по сути, вся гуманистическая концепция историописания. Поражает, какое внимание уделяется здесь причинно-следственным связям в историческом повествовании, без выяснения которых оно бесплодно, скользит по поверхности. Одним словом, в их освещении заключен смысл историописания. Правда, при этом «Зерцало» преследовало свою цель: на «уроках» морали обучать правителей. «Как в зеркале,— обращается автор к знати,— вы увидите, гнездится ли в вас какой-либо порок и как подобный ему порок был наказан в других людях, ваших предшественниках, что, я убежден, ускорит ваше избавление от него».

Завершая краткий очерк тюдоровской историографии, необходимо упомянуть «Хроники Англии, Шотландии и Ирландии», изданные Холиншедом<sup>12</sup>. Хотя именно этому источнику Шекспир больше всего обязан историческим материалом, в истории историографии он не занимает самостоятельного места, ибо перед нами компиляция, в которую включены разновременные и разнохарактерные хроники предшественников. Отсюда множество противоречий. Так, например, Холиншед в одних случаях безудержно хвалит Ричарда II, в других, явно следуя за иным источником, высказывает мнение прямо противоположное: погрязший в пороках Ричард заслужил все, что с ним случилось.



Как уже отмечалось, хроники Холла и Холиншеда находились в большой степени под влиянием провиденциализма — христианской доктрины истории, усматривавшей в событиях прошлого «моменты» в раскрытии «божественного плана», а в судьбах не только правителей, но и целых народов — свидетельства «божественного воздаяния». Приложение этой доктрины к английской истории XV в. приводило к объяснению смуты божьей карой за преступления королей и знати, за непокорность подданных, а прекращение смуты и воцарение Генриха VII Тюдора оказывалось свидетельством «божьего милосердия» к народу Англии. Разумеется, подобное «объяснение» событий XV в. превращалось в плохо прикрытую апологию тюдоровского режима. Неудивительно, что оно было воспринято и «развито» и в юридической доктрине, и в политической теории, и в религиозных санкциях — одним словом, в том наборе средств тюдоровской пропаганды, который известен в литературе под названием «тюдоровский миф». Можно согласиться с теми исследователями, которые утверждают, что источники Шекспира не содержат сколько-нибудь систематического изложения провиденциальной доктрины английской истории, что как Холл, так и Холиншед не оставались глухими к гуманистическим воззрениям на историю, которые были несовместимы с последовательным провиденциализмом. Однако соотношение этих двух доктрин в источниках Шекспира — обратное тому, которое характеризует гуманистическую историографию того времени.

В самом деле, у Макиавелли и Гвиччардини — создателей, если можно так выразиться, эталона гуманистической историографии XVI в. — нередко ссылки на «божью волю», на «волю провидения» и т. п., однако чаще всего эти «объяснения» приурочены к событиям, которые свершались «вопреки всем ожиданиям», «умом не постигались», т. е. не находили разумного объяснения. Подчас в такого рода провиденциальной по звучанию фразеологии скрывалась авторская ирония в адрес все еще живой средневековой традиции. Во всяком случае, в системе исторических воззрений Макиавелли и Гвиччардини подобного рода «объяснения» событий являлись либо произвольной данью той же традиции, либо сознательным указанием на положенные временем границы понимания хода дел человеческих.

Итак, хотя в тюдоровской историографии давала о себе знать морализаторская тенденция, основанная на средневековых представлениях о неизбежном воздаянии, в ней произошла заметная перемена. Во-первых, по своей проблематике она стала национально английской: в центре ее внимания оказалась история Англии; во-вторых, моралью, ее интересующей, стала преимущественно мораль политическая.

### **Исторические воззрения Шекспира**

Обратимся теперь к хроникам Шекспира с целью выяснения, каковы были его воззрения на историю общества — ее содержание, движущие силы, течение, наконец, как эти воззрения соотносятся с тюдоровской историографической традицией.

Уже отмечалось, что западное шекспироведение в принципе отказывает Шекспиру в самостоятельных исторических воззрениях. Для создания хроник ему-де нужна была лишь «сумма исторических фактов», что же касается самого отбора фактов и способов их сочленения в связное целое, то в этом он целиком и полностью полагался на свое чутье драматурга и актера. Если ему и приходилось считаться с чем-либо выходящим за эти рамки, то разве что с требованиями цензуры, у которой не должно было возникнуть сомнений относительно лояльности автора. Отсюда делается вывод, что Шекспир следовал за источниками не только в изложении фактов, но и в их интерпретации<sup>13</sup>. Однако изучение хроник Шекспира и сравнение их с источниками убеждает в том, что в изложенных выше суждениях действительная проблема весьма упрощена. Начать с того, что интерпретация основных вех английской истории XV в. в указанных источниках не только не однозначна, но до крайности противоречива и что, следовательно, Шекспиру приходилось определять свою позицию не на уровне отдельных фактов, а на уровне

общеисторических концепций. Здесь и возникает необходимость попытаться выяснить, каковы же были общеисторические воззрения Шекспира.

В общем и целом эти воззрения укладываются в русло философии истории ренессансного гуманизма, т. е. колеблются между двумя полюсами: с одной стороны, гуманистической верой в суверенность личности, направляющей и контролирующей свою жизнь, с другой стороны, христианской традицией, рассматривавшей человеческую жизнь, и следовательно человеческую историю, лишь как воплощение божественного промысла. Но то, что представляется нам абсолютно несовместимым, вполне совмещалось в представлениях Шекспира и его современников. В самом деле, история рисовалась им процессом, протекающим в двух формах: 1) видимой цепью событий, развязанных людьми, и 2) результатом неисповедимого «божественного плана». В первом случае «актеры», подвизающиеся на сцене истории, движимы лишь ближайшей целью, которая их полностью поглощает и ослепляет. Их принуждают действовать страсть честолюбия, жажда власти, гордыня, местничество — словом, импульсы, заключенные в самой природе этих актеров. Во втором случае речь идет не столько о конкретном разворачивании событий, сколько об их конечном результате, т. е. о том, к какой конечной цели они устремлены. С этой точки зрения «актеры истории» — не более чем слепые орудия провидения. В первом случае время событий измеряется днями, месяцами, годами, во втором — веками, эпохами. Естественно, что при такой разномасштабности процессов писать историю можно было лишь при одном условии — резервируя провиденциалистскую интерпретацию событий для введения или для заключения повествования, излагая и объясняя их ход в терминах «чисто человеческих», что для гуманистической историографии сводилось все к тем же «страстям». Это было, по сути, глубоко трагедийное видение истории. Суверенная личность оказывалась лишь исполнителем чужой воли, жертвой глубокого самообмана: в конечном итоге все заговоры, перевороты, восстания, кровопролитная борьба — все это только для того, чтобы реализовался «промысел божий». Типичным примером подобной реализации провиденциалистской концепции может служить пьеса «Ричард III». В ней эта концепция нашла свое отражение в финале, в сцене, предшествующей решающей битве при Босворте. Здесь нет пророчеств, но слова и поступки действующих лиц исполнены рокового смысла. Вот, к примеру, «самочувствие» Ричарда перед битвой.

Огни синеют. Мертв полночный час.  
В поту холодном трепетное тело.  
Боюсь себя? Ведь никого здесь нет.  
.....  
Бежать? Но от себя? И от чего?  
*«Ричард III», V, 3*

А вот как изображено пробуждение графа Ричмонда:

Сладчайший сон, нежнейшие из грез,  
Когда-либо приснившиеся людям,  
Меня минувшей ночью посетили.  
*Там же*

И можно ли после этого сомневаться в исходе предстоящей битвы!

Очевидно, провиденциализм в пьесе «Ричард III» — не что иное, как реализация «божественного плана». Другой характер божественный промысел носит в драме «Ричард II». Хронологически эта драма открывает почти столетний период английской истории, воссозданный в двух тетралогиях. Естественно, что и реализация указанной концепции здесь иная. Но, чтобы понять ее, необходимо небольшое отступление.

В историографической литературе тюдоровский исторический миф чаще всего отождествляется с воззрениями Холла, автора хроники, послужившей Шекспиру основным источником при написании пьес первой тетралогии. Холл рассматривается едва ли не как орудие политических целей Генриха VIII. Исторический миф, якобы воплощенный в хронике Холла, раскрывается обычно следующим образом. Хотя Ричард II проявил неспособность управлять страной, Болингброк (будущий Генрих IV), низложивший его, дважды совершил преступление: сперва — узурпировав трон и затем — допустив убийство Ричарда в нарушение данной клятвы. Господь наказал Генриха IV, сделав его правление «беспокойным», но отодвинул срок возмездия, поскольку Генрих «раскаялся». Однако Генрих, по всеобщему убеждению, был узурпатором. Его сын и наследник, Генрих V, благодаря своей «политической мудрости» и «благочестию» также отсрочил день возмездия (ради искупления отцовского греха он даже приказал перезахоронить прах Ричарда II в Вестминстерском аббатстве). Но ему не доставало мудрости, чтобы понять опасность, исходившую от дома Йорков. В правление Генриха VI проклятие, которое навлекли на себя и страну Ланкастеры, наконец свершилось в ужасной форме войны Роз.

Есть, однако, основания усомниться, во-первых, в том, что изложенный миф действительно тюдоровский, а во-вторых, в том, что именно его правомерно связывать с Холлом. Нетрудно доказать, что этот миф являлся в действительности йоркистским мифом: ведь он даже в деталях соответствует аргументу, выдвинутому герцогом Йоркским в английском парламенте после битвы при Норсемптоне<sup>14</sup>.

Хотя Холл, несомненно, знал его и ссылался на него в своей хронике, он никогда не выдавал его за собственный, т. е. им разделявшийся. Так, рассказывая о злоключениях Генриха VI, Холл указывает: некоторые отмечают, что Генрих был «недалеким человеком», «невинным», другие утверждают, что он был «трусом», «не способным править», третьи объясняют его несчастья божьей карой, подчеркивая, что королевство, которым его дед завладел несправедливо, не могло долго оставаться в таком состоянии. В лице внука всевышний покарал преступления деда.

Таким образом, нет свидетельств того, что Холл согласен с последним объяснением причин войны Роз. Он не видел в низложении Ричарда ужасного греха, за который «расплачивалась страна». Наоборот, Холл подчеркивает, что именно беззакония Ричарда разоряли Англию а потому знать, прелаты и магистраты обратились к Генриху Болингброку. Последний же вернулся в Англию только после того, как к нему с просьбой об этом обратился архиепископ Кентерберийский, наконец, он был провозглашен королем «единодушно знатью и общинами». Холл изображает Болингброка не вероломным узурпатором, а благородным аристократом, любимцем народа и превосходным королем-патриотом, спасшим страну от злоключений, в которые она была ввергнута правлением Ричарда II. Достаточно взглянуть на эпитеты, которыми он характеризует правление отдельных королей, и станет ясным, что для Холла акт низложения Ричарда II вовсе не навлекает возмездия на последующих правителей. Так, за «беспокойным правлением короля Генриха IV» следуют «победоносные деяния короля Генриха V», «смутное время короля Генриха VI», «цветущее правление Эдуарда IV», «жалостливая жизнь короля Эдуарда V», «трагические действия короля Ричарда III», наконец, «мудрое правление короля Генриха VII». Вместе с тем Генрих IV — родоначальник раздора между Ланкастерами и Йорками, а Генрих VII Тюдор — ниспосланный небом «спаситель» страны от междоусобиц. Но, изображая ужасы междоусобицы, Холл не пропагандирует тюдоровскую доктрину повиновения и нигде не говорит о священном характере королевской власти и «грехе восстания». Единственное, в чем Холл действительно повинен, так это в том, что ход истории Англии с этого момента он изобразил полностью в духе провиденциалистской концепции истории<sup>15</sup>.

Истинным глашатаем йоркистской точки зрения, которую нередко выдают за тюдоровский миф о событиях XV в., явился не Холл, а Холиншед<sup>16</sup>. Именно он осудил Болингброка как «узурпатора» и пространно описал душевные муки его в последние годы

правления. Согласно Холиншеду, «беспокойное правление» Генриха IV — справедливое наказание его и его подданных — участников низложения законного короля Ричарда II, чья вина заключалась в том, что он был слишком щедр к друзьям и слишком милосерден к врагам. Трудно себе представить, чтобы такое истолкование истории служило политическим целям первых двух Тюдоров, поскольку слишком уж подчеркивался принцип легитимизма. Иначе говоря, осуждая Болингброка как «узурпатора», Холижшед, по существу, утверждал законность йоркистских притязаний на корону. Более того, он называет герцога Йорка истинным, законным претендентом на корону, принадлежавшую Генриху VI. Ниспровергнув династию Йорков, Тюдоры вряд ли могли одобрить концепцию, в соответствии с которой Йорки выступали бы законными наследниками английского престола.

Однако то, что мог себе позволить Холиншед в 1577 г., было более чем рискованным в 1548 г. В ту пору тюдоровские апологеты, сознавая, что титул первых двух Тюдоров более чем сомнителен, всячески избегали самого понятия легитимности, утверждая снова и снова, что Англия обязана «миром и благополучием» Генриху VII, и именно в этом искали оправдание его узурпации. Святость правящего короля, а не святость его титула — вот что подчеркивали апологеты Тюдоров. Вместо Генриха IV в центре их внимания оказался расточительный и порочный Ричард II. Генрих VI для них не жертва родового греха, а святой мученик — жертва преступного честолюбия Ричарда III. Вместо того чтобы противопоставлять титулы двух соперничавших домов (как это делал Холиншед), они подчеркивали «счастливый союз Ланкастеров и Йорков» (брак Генриха Ричмонда и наследницы Эдуарда IV — Елизаветы). Тюдоровские апологеты проводили идею не возмездия, а «примирения», «целесообразности» всего совершенного. Для них англичане не грешники, которые нуждаются в искуплении, а «избранный народ», долго блуждавший в пустыне кровавых смут, прежде чем достичь «земли обетованной» — тюдоровского правления.

Итак, Шекспиру приходилось выбирать между двумя историческими мифами: йоркистским, представленным в хронике Холиншеда, и тюдоровским, воплощенным в хронике Холла, или, что то же, между провиденциализмом, объяснявшим историю Англии XV в. «конечной причиной» (т. е. последствиями «греха» - низложения Болингброком законного короля Ричарда II), и провиденциализмом более прагматического толка, ограничивавшимся при решении той же задачи так называемыми «вторичными причинами», т. е. мотивами человеческих поступков, когда освещались причины войны Роз, и прибегавшим к «руке божьей» — только при объяснении ее исхода. В хрониках Шекспира нетрудно найти элементы обеих концепций, но в его трактовке они оказываются значительно модифицированными. В самом деле, Холиншед очень хорошо знает, почему в Англии XV в. наступили смутные времена, и гораздо хуже осведомлен, почему именно Тюдоры оказались па троне, когда с неизмеримо большим основанием на него могли претендовать Йорки. Холл, наоборот, сосредоточен на объяснении «чудесного спасения» Англии Тюдорами, призванными провидением на престол. В хрониках Шекспира «рука всевышнего» тоже появляется во всех тех случаях, когда история идет не так, как ожидали участники. Однако связано это, как правило, с объяснением того или иного конкретного события, а вовсе не с предначертанием их общего хода.

Другими словами, под пером Шекспира история в значительной мере утратила свой мистический характер, стала более доступной человеческому разумению. К тому же у Шекспира небо непостоянно в своих привязанностях. Послушать Ричарда II — и провидение оказывается на его стороне, но вот побеждает Ланкастер — все снова объясняется волей божьей: и это потому, что у каждой из борющихся клик на время появляется своя «рука божья», точнее, она всегда поддерживает победителя. Таким образом, провиденциализм утрачивает «непостижимый» характер и толкает на поиски рациональных причин исторических перемен.

Если отвлечься от тех ссылок на провидение, когда оно оказывается лишь словесной данью «обиходу», то окажется, что Шекспир прибегает к нему в трех случаях: 1) когда речь идет о пророчестве, которое было вполне возможно на разумных основаниях; 2) когда события, происходящие на глазах у зрителей, столь загадочны (или объяснения их столь противоречивы), что единственным «примиряющим» всех выходом остается прибегнуть к провидению; 3) наконец, когда речь идет не о переменах, а о предназначении сущего, об основаниях его функционирования и т. д.

С первым случаем мы сталкиваемся в упоминавшейся уже речи епископа Карлейля, произнесенной в сцене низложения короля Ричарда II.

Лорд Херфод,— королем он назван вами,—  
 Изменник пред законным королем.  
 Коль коронуете его вы, знайте:  
 Кровь английская землю утучнит.  
 .....  
 Мир к туркам и неверным спать уйдет,  
 А здесь, где мир царил,— средь войн мятежных  
 На брата брат и род на род восстанут;  
 Страх, беспорядок, ужас и бунты  
 Здесь будут жить...

*«Ричард II», IV, 1*

Очевидно, что перед нами провиденциализм типа разумного предвидения. Здесь нет ссылки на небо и ого реакцию, на дела человеческие. Единственное, что еще связывает это предвидение с традиционным провиденциализмом, сводится к церковному сану пророчествующего. Однако «предвидение» оставляет без ответа вопрос: чем объясняется данное событие? Почему, например, жители Лондона полностью отвернулись от короля Ричарда II и с ликованием встретили Генриха Болингброка? Йорк объясняет эту перемену следующим образом:

С презрением... все косились  
 На Ричарда: никто «бог да хранит!» не крикнул  
 И не приветствовал его никто,  
 Но сором в венценосца все кидали.  
 .....  
 Но божью руку видно в этом деле,  
 И покоряемся мы высшей цели.  
 Я Болингброку клятву дал свою,  
 И власть навек я признаю.

*Там же, V, 2*

Бросается в глаза абсолютная несовместимость точек зрения Йорка и Карлейля. Для Карлейля король Ричард — само воплощение «воли божьей», мятеж против него равносителен мятежу против всевышнего, иными словами, перед нами основная посылка «мифа» Йорков. В глазах Дяди Ричарда, Йорка, все обстоит наоборот. Если вопреки «божественности» власти Ричарда победа досталась Болингброку, значит провидение склонилось на его сторону, значит, его дело правое. Но подобное заключение есть подтверждение того, что в контексте хроник Шекспира провидение функционировало в двух смыслах: 1) в традиционном — как реакция на «возмущающие» его действия; в этом случае оно привлекалось для объяснения общего хода истории, мы сказали бы — общей закономерности; 2) в смысле простой констатации, что все происходящее случается «по воле божьей», и тогда человеку отводилась задача выяснить разумную причину происходящего.

И Шекспир не упускает возможности привести разумные объяснения происходящего. По мнению Солсбери, задержка короля Ричарда в Ирландии стоила ему престола. Он вернулся слишком поздно, чтобы повернуть ход событий вспять.

Боюсь, что день единый промедленья  
Тебе затмил все дни земного счастья.  
Верни вчерашний день — себе ты этим  
Двенадцать тысяч воинов вернешь!  
Сегодня — поздно...  
Валийцы мертвым короля сочли,—  
Сбежали, к Болингброку перешли.

*Там же, III, 2*

Другие причины того же события знает старый, умирающий герцог Гант: король вел себя, как тиран, страна для него вотчина, а подданные — бессловесные холопы.

Алмаз в оправе серебристой моря...  
Благословенный край, отчизна, Англия...  
В аренду сдан подобно жалкой ферме...  
Теперь окружена кольцом позора —  
Чернильных клякс, пергаментных оков;  
Британия, привыкшая к победам,  
Сама себя позорно победила.

*Там же, II, 1*

И, обращаясь к Ричарду:

О, если бы твой дед предвидеть мог,  
Как сыновей его сын сына сгубит,—  
Он не дал бы позориться тебе.

.....  
Ты — Англии помещик, не король...

*Там же*

Иную причину видит герцог Йорк: «Он молод» (там же).

Известно, что после смерти Ганта Ричард II конфисковал все его владения и имущество и тем самым лишил изгнанного Болингброка наследства, а это было прямым правонарушением. И Йорк предупреждает:

Коль Херфорда вы прав его лишите,  
Все грамоты...

.....  
Отняв и подданство его отвергнув.  
Вы навлечете тысячу несчастий  
На голову свою, и вы лишитесь  
Привязанных к вам тысячи сердец.

*Там же*

С другой стороны, у короля Ричарда есть свое объяснение событий: Болингброк благодаря ловкости стал кумиром простонародья:

...Как он учтив был с чернью,  
Как будто проникая им в сердца  
С униженной любезностью, как ровня,  
Как он поклоны расточал рабам,

Мастеровым — улыбкой мастерскою,  
 Снял шляпу перед устричной торговкой,  
 Двум возчикам, ему желавшим счастья,  
 Ответил реверансом со словами:  
 «Благодарю, друзья и земляки» —  
 Как будто нашей Англии наследник  
 И наших подданных надежда он.

*Там же, I, 4*

Наконец, были свои объяснения и у простого народа. Достаточно вспомнить знаменитую беседу садовника и работника. Для них Ричард II — «расточительный король», он не правил страной, а отдал ее на откуп; в результате — правопорядок погран, царит беззаконие.

К чему нам за садовою оградой  
 Блюсти закон, соотношенье форм,  
 Порядок образцовый сохраняя,  
 Когда весь край наш — сад в ограде моря —  
 Так полон сорняков? Цветы погибли.  
 Запущены плодовые деревья,  
 Ограды в беспорядке, а растенья  
 Изъедены червями в нем.

*Там же, III, 4*

Перед нами сложнейшая гамма вполне рациональных суждений о причинах низложения Ричарда и смены его Болингброком. И хотя глубина и серьезность этих суждений весьма различны, тем не менее в совокупности они воссоздают вполне правдоподобную историческую ситуацию, обусловившую замену на престоле Англии Ричарда — Болингброком.

Итак, в хрониках Шекспира предполагается существование двоякого рода причинных связей в истории: скрытых, глубинных, разуму не доступных, которые определяют общее направление исторического процесса, и причин, лежащих на поверхности, доступных непосредственному наблюдению и объясняющих происходящие на глазах перемены. Подобно тому как современники Шекспира различали в человеке два начала — «божественное» и «плотское», точно так же и к анализу категории «государство» можно было подойти с двух точек зрения: натурфилософской и теологической. В первом случае исторические события рассматриваются в свете уже известной нам «органической теории» общества, т. е. надлежащего отправления предписанных функций каждым из «членов» «политического тела», во втором случае те же события предстают как следствие предначертанного «божественного плана». В хрониках Шекспира только что охарактеризованные способы исторического объяснения выступают то раздельно (как противоположность зримого и невидимого), то как единство, воплощение невидимого в зримом. Обратимся теперь к хроникам за иллюстрациями.

В самом деле, в трехчастной пьесе «Генрих VI» нет абсолютно никаких указаний на то, что Шекспир придавал какое-либо значение в трагических событиях этого времени захвату престола Болингброком. Через всю хронику красной нитью проходит не провиденциалистская концепция истории, а политико-этическая. Ни один из участников исторической драмы не рассматривает обрушившиеся на страну страдания как возмездие за низложение Ричарда II. Наоборот, их чаще всего связывают с неспособностью Генриха VI управлять страной. Достаточно сказать, что ни Мортимер, «законный» наследник Ричарда II, ни герцог Йорк, оспаривающий «право» Ланкастеров на корону Англии, ни разу не связывают происходящее с провидением.

Для Мортимера Болингброк — лишь «дерзостный захватчик». Тем не менее он перед смертью признает: «Ланкастерский основан прочно дом. Он, как гора, стоит, его не

сдвинуть...» («Генрих VI», ч. I, II, 5). Точно так же и Йорк. В силу необходимости он может ссылками на родословную обосновать свое преимущественное право на английскую корону. Однако решающие причины, толкнувшие его на открытое выступление против Генриха VI,— безграничное честолюбие, жажда власти, с одной стороны, и понимание неспособности короля править государством — с другой. Таковы истинные причины смуты. Обращаясь к Генриху, Йорк говорит:

Король,— сказал я? — Нет, ты не король:  
 Не может тот народом управлять,  
 Кто и с одним изменником не сладит.  
 Не впору голове твоей корона.

*«Ричард II», V, 1*

Итак, очевидно, что Шекспир развивает не провиденциальную, а чисто политическую концепцию власти. Король не тот, кто увенчан короной, а тот, кто может реализовать свое право на нее, чья рука может держать скипетр. Из двух «прав» «лучшее» принадлежит не «законному наследнику», если он негодный правитель, а способному претенденту.

Поле исторического зрения Шекспира, равно как и всей гуманистической историографии, представляется нам сравнительно узким: государственное начало и его олицетворение — королевская власть. Одним словом, одна лишь политическая история — таковы его пределы в исторических хрониках. Но как многогранно эта проблема раскрывается, на каком широком, временами истинно общенародном фоне! Известно, что в ту эпоху государственность воплощала линию исторического прогресса народов.

Борьба с феодальной анархией, мятежами в местничестве знати внутри страны и угрозой вторжения сил контрреформации извне — таков действительный стержень «гражданской истории» того периода. Вот почему исторические хроники Шекспира столь созвучны историческому мышлению Макиавелли и Гвиччардини, с одной стороны, Бодену и Монтеню — с другой.

Вот почему Шекспир (в отличие от современной ему английской историографии) в бурных событиях английского XV в. увидел не только «смутное время», не просто смену династии на престоле, а смену исторических эпох: переход от иерархии — к национальному государству, от средневековой патриархальности, в которой роль и место индивида были зафиксированы однажды и навсегда в его «родословной», — к условиям существования, в которых то и другое оказалось во власти времени и тем самым лишилось определенности и постоянства. В отличие от «профессиональных хронистов» своего времени, Шекспир увидел всю глубину происшедшего переворота, когда представлявшийся наглухо замкнутым и неподвижным мир средневековья на глазах одного поколения раскрылся навстречу ветрам вселенной. Нет сомнения, что в рамках двух тетралогий этот переход с наибольшей глубиной анализируется в двух частях хроники «Генрих IV». Ни в одном другом литературном произведении той эпохи с такой ясностью не обрисованы поляризация общественных сил на рубеже средневековья и нового времени, их идеалы и принципы.

Политическим центром эпохи, формирующим новую социальную иерархию и новую шкалу политических ценностей — представления о рангах, правах и обязанностях и т. п., предстает, разумеется, королевский дворец. Олицетворение нового государственного начала — король, источник «нового права», «хранитель мира и порядка», твердой рукой пресекающий смуту, откуда она не исходила бы. В более чем противоречивом сопряжении с ним находятся устремления двух других общественных полюсов этого времени. Один из них — феодальная знать, средоточие реальной угрозы анархии: мятежей, заговоров, смуты, мир Хотспера. Другой — мир Фальстафа, мир завсегдатаев постоянных дворов и трактиров Истчипа, населенный пестрым людом, выпавшим «из орбит движения» различных сословий: здесь оставшиеся при одном лишь



звании рыцари, добывающие средства для «благородной жизни» на больших дорогах, наемные служаки, искатели приключений, слуги. Мир — анархичный, импульсивный, неуправляемый, фермент постоянного брожения, особо опасного ввиду его соприкосновения с низами, улицей, толпой. Сталкивая эти миры между собой, Шекспир создал удивительную систему зеркал, каждое из которых отражало окружающую действительность неповторимым образом. Разумеется, не только сценически, но и исторически наиболее притягательным в этой системе является Фальстаф. Дворянин по рождению, он оказался «вне традиционного способа жизни своего класса», но именно поэтому вне его традиционных предубеждений. Равным образом, очутившись во власти мира денег, он решительно отвергает его этику и «политическую экономию». Но, оказавшись в столь специфическом для того времени «междуклассовом» пространстве, Фальстаф с редкой пронизательностью раскрывает изнанку этоса различных сословий, служилых различных рангов, наконец, мира, к которому он сам принадлежит.

В трактирах Истчипа Фальстаф ведет себя как истый «дворянин» своего времени — он ест и пьет в долг, никогда не справляется о его размере и очень не любит, когда ему об этом напоминают. Однако само звучание слова «сэр» все еще действует магически — оно спасает Фальстафа от долговой тюрьмы и обеспечивает ему ежедневно добрую порцию хереса и достаточно каплунов. «Уж такой честный!» — воскликнет хозяйка трактира, провожая его на государеву службу. Благородный плут и грабитель, рыцарь, предпочитающий поединку на шпагах фехтование словесное, «ненасытная утроба», Фальстаф свободен от всех форм сословной узости, связанности, ограниченности. Удивительно ли, что именно его «образ мыслей и действий» стал наиболее всеобъемлющим зеркалом истории эпохи становления ренессансной государственности.

Современное шекспироведение все более склоняется к системному рассмотрению двух тетралогий при соблюдении принципа историзма.

Исторические хроники правомерно рассматривать как модусы решения одной и той же проблемы: королевская власть и личность ее носителя. В самом деле, Ричард II обладал с юридической точки зрения безупречным титулом суверена, однако он начисто был лишен чувства исторической ответственности, связанной с ним. Употребление власти по личной прихоти превратилось в злоупотребление ею. Генрих IV обладал качествами государственного мужа, но был узурпатором короны и убийцей низложенного им короля. Юридическая ущербность титула и моральная ущербность личности короля мешали ему «спокойно» править королевством. Генрих V обладал законным титулом (полученным по наследству от незаконно присвоившего его отца), а личные качества правителя были настолько преувеличены счастьем победоносного для англичан сражения при Азинкуре (1415), что стали еще при его жизни олицетворением непревзойденной доблести. Генрих VI обладал законным, наследственным титулом короля, но явно им тяготился из-за неспособности нести бремя ответственности, связанной с королевской властью. Наконец, Ричард III — традиционно утвердившийся образ короля-тирана. Однако было бы ошибочно делать вывод, что перед нами своеобразное аллегорическое изображение истории. Наоборот, исторические пьесы Шекспира были полны жизни и значения для его современников и даже мы — через столетия — воспринимаем их гуманистический пафос не как декламацию, а как волнуемую глубоким трагизмом одиссею народа Англии, как грандиозный ренессансный эпос. И разве такие поставленные в нем проблемы, как личность и власть, власть и совесть, власть и закон, власть и ответственность и им подобные, — разве могли бы они приобрести столь непреходящее звучание, если бы их смысл не был раскрыт столь многогранно на материале живого, поистине всенародного опыта — на материале истории.

Но ведь история — не только прошлое, это и настоящее и будущее. Драматизация подобного материала давала возможность хотя и косвенно, но совершенно недвусмысленно комментировать настоящее, раскрывать содержание драматических

конфликтов своего времени в терминах реальностей человеческой жизни и человеческих отношений.

В каждом более или менее значительном характере Шекспир раскрывает определенную грань логики самого исторического процесса, а в столкновениях этих характеров — скрытые пружины, двигавшие этот процесс. Поэтому определять жанр драмы, созданной Шекспиром, только эпитетом «историческая» представляется недостаточным. Речь должна идти о философско-исторической драме.

В целом историческое видение Шекспира складывалось постепенно, уточнялось и обогащалось от одной хроники к другой, и в той же степени уменьшалась зависимость драматурга от организации материала и интерпретативных принципов его источников. Так, первая тетралогия гораздо больше, явственнее окрашена провиденциалистской доктриной истории, нежели вторая. В особенности «Ричард III». Если вспомнить, что в этой хронике речь идет о событиях, непосредственно связанных с воцарением правившей в стране династии, то довольно точное следование Шекспира установившейся традиции можно объяснить не только недостаточностью опыта. Определенная печать неисповедимого «промысла божия» лежит и на более отдаленной по времени (хотя и первой по написанию) трилогии «Генрих VI». Генрих VI — несчастный король, он унаследовал корону годовалым младенцем. Врагам королевского мира и порядка только этого и нужно было, чтобы ввергнуть страну в хаос междоусобиц. Все же этого оказалось мало: король-младенец также унаследовал и неоконченную войну с Францией, удача в которой выпала на долю Франции (кстати, не только из-за пробудившегося в недрах ее народа чувства патриотизма, но не в малой степени также из-за все ярче разгоравшейся распри в верхах английской знати). Наконец, едва повзрослев, по «совету» одной из придворных клик Генрих заключил политически бессмысленный брак, только усиливший интриги и соперничество при дворе.

Все это было вполне созвучно провиденциалистской мотивировке событий, столь характерной для Холла и Холиншеда.

Однако уже в этих опытах Шекспир проявил значительную самостоятельность, сказавшуюся не только в отборе и сочленении фактов, диктуемых законами сценического искусства, но и в постановке того, что мы назвали бы сверхзадачей — вопроса о смысле истории. Уже в первой тетралогии заключена парадоксальная мысль: Генрих VI был слишком человек, чтобы в сложившихся условиях оказаться удачливым королем. Правда, Шекспир здесь просто «повторил» открытие Макиавелли: политическая и человеческая (житейская) мораль — две морали, но в отличие от последнего Шекспир отверг такое раздвоение морали, которая оправдывает аморальность (с человеческой точки зрения) политики «высшими интересами государства». Вот почему в рассматриваемой трилогии по мере приближения к финалу смещаются акценты: Генрих VI предстает не как непригодная личность, несоответствующая требованиям времени, а, напротив, как личность, возвышающаяся над миром безграничного честолюбия, предательства и нечеловеческой жестокости. В той мере, в какой все более беспомощным становится король Генрих, чем явственнее становится его банкротство как короля, политика, военачальника, тем больше он как человек выдвигается драматургом в центр драмы в качестве судьи над происходящим вокруг. Столкновение Генриха VI лицом к лицу с Ричардом Глостером символизирует содержание, пожалуй, основного урока всей трилогии: Генрих VI — негодный политик, поскольку он руководствовался на троне нормами общечеловеческой морали. С другой стороны, Ричард Глостер, прекрасно усвоивший различие между этими нормами и нормами морали политической, пытается ПОСТАВИТЬ последние на службу не идеалу государственности, а своего личного безграничного честолюбия. Иными словами, Ричард Глостер—воплощение чисто феодального династа, прошедшего выучку в школе ренессансной политики.

Итак, каковы же характерные черты историзма Шекспира? Наиболее важная его особенность заключалась в том, что драматизированная им действительность была развивающейся, меняющейся.

Этот факт устанавливается с наибольшей очевидностью при рассмотрении того, как Шекспир осмысливает временной параметр истории. Сознание различия исторических времен — даже в рамках одного столетия — обнаруживается при сравнении первой и второй тетралогии. Так мир Ричарда II явно более архаичен в сравнении со временем Генриха IV, не говоря уже о времени Ричарда III. И дело не только в том, что в первом случае мы еще сталкиваемся с таким анахронизмом, как судебный поединок, который уже трудно представить себе в более позднее время. Гораздо важнее, что отмеченное выше различие времен раскрывается в различных концепциях власти и столь же различных формах распоряжения ею.

Далее, в хрониках Шекспира явно прослеживается мысль о том, что, вопреки текучести, непостоянству, зыбкости дел человеческих, вопреки зримому хаосу событий, интригам, заговорам, переворотам, мятежам и кровопролитиям — этим следствиям неистовств постоянно борющихся на исторической сцене сил, в истории действуют определенные закономерности, которые способен постичь человеческий разум. На вопрос, возможно ли из наблюдений над причинами отдельных и разрозненных событий сделать вывод о более общих основаниях исторических перемен, Шекспир отвечает утвердительно.

Однако обнаруживаемые им закономерности в истории столь же бедны, сколь узкой рисовалась вообще сфера исторического бытия. Начать с того, что для Шекспира (как и для гуманистов вообще) из этой сферы была почти полностью изъята область социального. В целях аналитической сфера социальной жизни делилась между политикой (включавшей общественное устройство) и этикой (включавшей общественную и индивидуальную мораль). Но что же с этой точки зрения являлось субстратом истории или, иначе, что в обществе было подвластно истории (т. е. изменению), если, разумеется, суть истории вслед за гуманистами усматривать именно в изменениях? Из анализа хроник Шекспира следует, что общественный индивид представлен в истории только посредством «прирожденных» сословных функций, он включен однажды и навсегда в «государственное целое», «политическое тело» и только как носителя этих функций его и знает история.

Неизменность последних рассматривалась в одно и то же время и как предпосылка, и как следствие неизменности существующего общественного строя. Как общественный индивид, таким образом, человек стоял вне истории. Но тогда объектом истории, или, что то же, субстратом изменений, могла быть, с одной стороны, только сфера политики (включая и международные отношения), а с другой — сфера морали. Однако если Возрождение уже пыталось рационально объяснить первопричину изменений в сфере политики (ею могла выступить лишь индивидуальная мораль правителя — смена порочного правителя добродетельным или наоборот), то изменения в сфере общественных нравов (в рамках одного и того же общества) оно лишь констатировало, да объяснить даже не пыталось. Вместе с тем поскольку постулаты индивидуальной морали неизменны, постольку оказывалось, что к объяснению сферы исторического в конечном счете привлекались аргументы из сферы внеисторической. Исходя из этого, обратимся к знаменитому рассуждению Генриха IV.

О господи, когда б могли прочесть  
Мы Книгу судеб, увидеть, как время\* (\* Смена времен.)  
В своем круговращеньи сносит горы,  
Как, твердостью наскучив, материк  
В пучине растворится, иль увидеть,  
Как пояс берегов широким станет  
Для чресл Нептуновых; как все течет

И как судьба различные напитки  
 Вливает в чашу перемен! \*\* (\*\* *Изменения наполняют чашу перемен.*) Ах, если б  
 Счастливый юноша увидеть мог  
 Всю жизнь свою — какие ждут его  
 Опасности, какие будут скорби,—  
 Закрыв бы книгу он и тут же умер.  
*«Генрих IV», ч. II, III, 1*

Не будем обольщаться столь «исторически» звучащими образами: их значение более чем ограничено. Конечно, «смена времен» означает в этом контексте нечто большее, чем простое «истечение» времени. Но она в равной мере относится как к превратностям в жизни индивида, так и к судьбам народа и государства. Именно это обстоятельство ограничивает диапазон шекспировского историзма. Время здесь уже отмечено содержательной характеристикой. Время — это историческая ситуация, определенное стечение обстоятельств (главным образом политических), это политические условия народной жизни. Таковы пределы изменчивости, которые дано было Шекспиру заметить в истории Англии. Стало быть, «чаша перемен», наполняющаяся различными напитками, — это либо перемены в судьбах индивида как такового, либо перемены, так или иначе связанные с судьбами государства (в связи с переменами на вершине власти). Другими словами, в хрониках Шекспира, как и у гуманистов вообще, в поток времени включены полярности: индивид, рассматриваемый как природа, и индивид, рассматриваемый как история — князь, воплощающий политическое целое (государство). Зато полностью отсутствует индивид общественный, т. е. определенный через совокупность социальных и политических связей. История — в таком видении — все еще проносится над историографией Возрождения.

В хрониках, разумеется, мы сталкиваемся прежде всего с политиком, и все превратности в его судьбе только олицетворяют превратности политических ситуаций, переживаемых обществом. Шекспиру, как историческому мыслителю, присуща типичная черта гуманистической историографии — уверенность в том, что всякое историческое движение можно выразить только «в лицах», исторические конфликты — как конфликты личные, родовые, династические, изменения в государстве — только через смену государя и т. п. Подтверждение этому мы находим прежде всего в двух частях драмы «Генрих IV».

Король Генрих выразил удивление по поводу того, что в свое время Ричард II предсказал измену Нортемберленда: тот самый Нортемберленд, который сыграл решающую роль в низложении Ричарда II, со временем восстанет и против короля Генриха, которого возвел на престол. Вот это пророчество:

Нортемберленд, ты лестницею служишь,  
 Чтоб Болингброк взойти на трон мой мог...  
 Когда твой мерзкий грех, созрев нарывом,  
 Прорвется с гноем; будешь недоволен,  
 Хотя б он дал тебе полкоролевства,  
 Затем, что ты помог ему взять все...  
*«Ричард II», V, 1*

На это Уорик ответил знаменитой сентенцией, имеющей прямое отношение к нашему сюжету:

Есть в жизни всех людей порядок некий,  
 Что прошлых дней природу раскрывает.  
 Поняв его, предсказывать возможно  
 С известной точностью грядущий ход  
 Событий, что еще не родились,  
 Но в недрах настоящего таятся,

Как семена, зародыши вещей.  
 Их высидит и вырастит их время,  
 И непреложность этого закона  
 Могла догадку Ричарду внушить,  
 Что, изменив ему, Нортемберленд  
 Не остановится, и злое семя  
 Цветок измены худшей породит.

*«Генрих IV», ч. II, III, I*

В сентенции Уорика как в капле воды отразилась философия истории елизаветинской эпохи. Суть ее вкратце сводилась к следующему. Историю творят стоящие у кормила правления личности, обладающие — в рамках конечного провидения — свободой выбора, решений, поступков. Это относится как к индивидам-правителям, так и к индивидам-подданным. Если история имеет огромное дидактическое значение, то в таком случае речь идет не о «народе», «сословии», «корпорации» и их действиях, а только о поступках индивидов-политиков. Государь получает в истории «зерцало» того, каковы последствия правления порочных правителей, подданные же извлекают урок преданного служения «государственному телу», в обратном случае — урок возмездия (картину хаоса).

В центре истории страны — государство, государь и его агенты.

Поскольку истории, как мы видели, подвластны только две сферы общественной жизни; сфера политики и сфера морали, постольку ее канву составляют «события», безразлично, идет ли речь о внешней «войне» или о «разводе короля». События истории — это слова, дела и их последствия, политические действия индивидов или массовые действия, затрагивающие «власть» и ее носителей. Войну начинает король — он один в ответе за «оправданность» (перед господом) жертв, которых она потребует. Мятеж поднимают «главари», «зачинщики» — они прежде всего в ответе за свершившееся. Словом, субъектом истории является индивид, а не масса. Действия «масс» — не исторические действия, они только время от времени «встречаются» в истории, но это аномалия, патология. Они — результат либо злоупотреблений представителей власти, либо заблуждений, «совращений» и т. п.

Историография лучше всего выполняет свое призвание, если ее «зерцало» приставлено к индивидам, в основе поведения которых лежит «родовое благородство». В этом случае сфера политики совпадает со сферой «чести и доблести». Такой урок пригоден и для правителей, и для подданных. Итак, действия, вызывающие «исторические события», — это прежде всего поведение знати, правящего сословия, оно может быть «добрым» и «злым» (если в событии сказываются действия «неблагородных» масс, то, как правило, с отрицательным знаком). Поскольку нормы морали в идеале неизменны, а обстоятельства изменчивы, постольку определенное стечение обстоятельств может служить указанием на то, как проявит себя данный «характер» в той или иной ситуации. Подданный, изменивший королю, когда перевесила чаша весов его врага, способен изменить и следующему королю — в аналогичном случае. Следовательно, если известны проявления моральных стандартов в определенных ситуациях, то открывается возможность предсказывать поведение носителей этих стандартов при повторении подобных ситуаций в будущем, что выражено Шекспиром: «есть в жизни всех людей порядок некий». Таким образом, «закономерности» относятся исключительно к сфере индивидуальной (и социальной) морали, и только опосредованно к сфере политики (поскольку речь идет о влиянии индивидуальной этики на судьбу государства). Очевидно, что эти предвидения затрагивают лишь сферу политики. Словом, сентенция Уорика — свидетельство того, что объективный ход историй, даже на эмпирическом уровне наблюдений, обнаруживает определенные регулярности, вопреки хаотическому нагромождению событий. В результате человек способен предвидеть ход событий в будущем.

Наконец, следует отметить, что для елизаветинцев, абсолютно не замечавших феномена развития общества как целого, последнее переходило из века в век в качестве простого тождества, непрерывности неизменного. «Судьбу», «переменчивость» обнаруживает не общество, а индивиды, роды, кланы, клики. «Судьба народа» — это судьба рода, увенчанного короной, и т. д. Знаменитая «цепь времен» олицетворяет именно такое представление об обществе как о воплощении устойчивости среди текучего. Ее «разрыв» — трагическая констатация того, что история начинает вторгаться в сферы жизни, считавшиеся ей неподвластными.

Но как же из столь метафизического представления об обществе могло возникнуть представление об истории как изменчивости? Ответ возможен один: только в результате осмысления судьбы народа как судьбы личности, т. е. объяснения хода событий воздействием фортуны, судьбы. Причем на различных уровнях эти понятия приобретали различный смысл. Если на уровне истории «всеобщей» судьба полностью воспринималась сквозь призму христианской исторической традиции (с ее мотивами грехопадения и искупления, близкого страшного суда, грядущего царства божия и т. п.), то на уровне истории отдельного народа провиденциалистская схема приспособлялась для объяснения отдельной эпохи и расшифровывалась в зависимости от династических интересов «царствующего дома»; наконец, на уровне наблюдений текущей общественной жизни история выступала как арена, где единоборствуют добро и зло, порок и добродетель, т. е. единоборствуют исторические характеры. Единственное, что объединяло историю на всех этих уровнях, — это сознание необратимости времени. «Мы время вспять не властны повернуть» («Макбет», I, 3). Однако и это сознание на деле относилось к «книжке жизни» индивида, а не «политического тела»: ведь для последнего необратимость времени означала лишь неподвластность ему. Помимо этого, с династической точки зрения время было вполне обратимо.

Подведем некоторые итоги. Тюдоровская историография еще в значительной мере коренилась в средневековой традиции. Вместе с тем она уже усвоила и ряд важных положений ренессансной философии истории. Отсюда столь характерное для нее чередование «божественного промысла» и фортуны, «прегрешений» и судьбы при объяснении исторических событий. Точно так же, несмотря на то, что в тюдоровской историографии еще полностью господствовала морализаторская тенденция, основанная на средневековых представлениях о неизбежном «воздаянии», в ней заметно изменился характер самой морали: наряду с религиозно-этическими «поучениями» она наполнилась уроками политическими. Точно так же, поскольку тюдоровская историография черпала свои сюжеты главным образом из истории Англии, постольку «уроки», преподносившиеся ею читателю, носили национально окрашенный характер. Они предназначались прежде всего английскому читателю. Наконец, весьма противоречивой была и политическая философия, заключенная в этих «уроках». Эта философия не могла быть ни последовательно легитимистской, ни последовательно провиденциальной. В самом деле, когда герцог Йорк поднял оружие против Генриха VI, его «право» на английский престол было, несомненно, «лучшим» в сравнении с «правом» правившего короля. Однако, когда граф Ричмонд (будущий король Генрих VII) вторгся в Англию с войском, у правившего короля (Ричарда III) было «лучшее право» на корону Англии. В результате и последовательный провиденциализм, равно как и последовательный легитимизм, оборачивался против Тюдоров. Отсюда фундаментальная противоречивость концептуальной схемы источников, к которым обратился за материалом Шекспир. Вместе с тем именно в приведенном им способе преодоления этих противоречий — свидетельство самостоятельности Шекспира.

Но, может быть, самой выдающейся чертой историзма Шекспира является включение в историю современности. Правда, «современную историю» нередко писали и современные Шекспиру историки, политические мыслители, знатоки права и т. д. Однако принципиальное различие между последними и Шекспиром в трактовке этой истории

заклучалось в том, что они переносили на нее трафарет, применявшийся ими в отношении «истории прошлой», между тем как Шекспир резко раздвинул именно в применении к ней рамки исторического видения как такового. На материале современной истории перед духовным взором Шекспира стали прорисовываться и подлинное содержание названных выше вопросов, и некоторые из возможных на них ответов. С этой точки зрения правомерно утверждать, что все его творчество буквально пронизано ренессансным историзмом.

Итак, Шекспир как исторический мыслитель стоял, несомненно, на голову выше тюдоровских историографов. Однако его историческое сознание, как и сознание Ренессанса в целом, еще далеко отстояло от последовательного историзма. В лучшем случае речь может идти лишь об элементах историзма в осмыслении истории вообще и в истории Англии в частности. Что в его хрониках действительно следует рассматривать в качестве отправного пункта эволюции исторического сознания нового времени — это художественную (образную, а не логическую) передачу диалектики истории, изображение ее не только пронизанной глубокими противоречиями и катаклизмами, но и противоречивым единством прерывности и непрерывности (хотя последнее раскрывалось лишь как смена обладателей: короны и политики, ими творимой, с одной стороны, и течение народной жизни — с другой). История для Шекспира — великая, непреоборимая сила. Но сила эта — слепая, причем в двух смыслах. Во-первых, она делает свое дело незаметно: это крот, роющий свои ходы под землей (результаты исторических событий почти всегда неожиданны), и, во-вторых, в силу «скрытости» история полна загадочности, «опасностей» трагизма для тех, кто оказался в ее водовороте.

## **Глава V**

### **ОБЩЕСТВО, ЭТИКА, ПОЛИТИКА**

Выше уже подчеркивалось, что исторические взгляды Шекспира формировались не только и даже не столько на материале истории дней минувших, сколько под впечатлениями, вынесенными им из повседневных наблюдений жизни, его окружавшей. Суть истории он постиг глубже всего только тогда, когда обнаружил, как велика пропасть между социально-этическими идеалами ренессансного гуманизма и исторической действительностью Англии на рубеже XVI—XVII вв., когда ему открылся весь трагизм ситуации, в которой оказался ренессансный герой, столкнувшись с реальностью, представлявшей во всех отношениях вопиющее отрицание этих идеалов. Из столкновения мечты гуманиста и елизаветинской действительности родилось историческое осмысление Шекспиром современности, рассмотрение современности — настоящего — как истории, как ее центрального, движущего звена. Благодаря этому другие временные измерения — прошлое и прозреваемое будущее — как бы сжимались, лишались сколько-нибудь четких границ. Это наполнило поразительным динамизмом картину современности.

Выше было отмечено, что в исторических хрониках этика сплошь и рядом выступает «мерилом» истории. Теперь же мы коснемся обратной зависимости, т. е. тех случаев, когда история превращалась в «мерило» этики. Как могло случиться, что гуманистическая этика, основанная на постулате доблести а достоинства личности, энергии, направленной на самоутверждение «я» — частицы «вселенской гармонии», оказалась в конечном итоге моральной санкцией «духа капитализма» в такой же мере, в какой этика протестантизма выступила его религиозной санкцией? В поисках ответа на этот вопрос Шекспир приоткрыл такие глубины мира социального, которые долгие столетия спустя для господствующей моральной философии, равно как и для философии истории, попросту говоря, не существовали.

#### **Постулаты морали и аморальность действительности**

Известно, что разложение средневековых общественных связей освободило индивида от сковывавших его норм корпоративной морали, за которыми, однако, стояли те или иные гарантии его существования в качестве члена данной общности (региональной, профессиональной и т. п.). В новых условиях индивид предстал «центром Вселенной». За его решения была признана «суверенность», за его желаниями — «безграничность», но вместе с тем на него одного отныне была возложена моральная ответственность за сделанный выбор. И что важнее всего, вместе с былой связанностью отпали и бывшие гарантии условий существования индивида, его защиты со стороны общности. Этика предельного индивидуализма обнаружила свою изнанку — антисоциальный эгоцентризм<sup>1</sup>. Результат был удручающим. Именно в эту эпоху раскрылась вся бездна, разделявшая классы и сословия существующего общества. Угнетенные и обездоленные, быть может, впервые с такой остротой осознали меру своего одиночества и незащитности, своей отверженности. Наступила пора острейших социальных конфликтов. Трагизм этой ситуации обусловил глубокий сдвиг в ренессансном мировидении: радость и оптимизм утренней зари Возрождения сменились нескрываемым разочарованием и пессимизмом. Об этой перемене Гамлет поведал следующее: «Последнее время... я утратил всю веселость... на душе у меня так тяжело, что эта прекрасная храмина, земля» кажется мне пустынным мысом. Этот несравненный полог, воздух... эта великолепно раскинутая твердь... выложенная золотым огнем,— все это кажется мне не чем иным, как мутным и чумным скоплением паров» («Гамлет», II, 2).

Как известно, у Гамлета были «свои причины», объясняющие резкую перемену настроения. Однако на рубеже XVI и XVII вв. о такой же перемене в умонастроении могли поведать — и почти в тех же выражениях — многие гуманисты, и, по-видимому, в их числе создатель «Гамлета» — Шекспир. Окружающий мир для них не только помрачнел — он «перевернулся», обнаружив изнанку привычных понятий, ценностей, идеалов. Все они вдруг приобрели «двойной смысл», многозначность, требовали для своего уяснения соотнесения и сравнения с противоположным.

Иллюзии государства «общего блага» развеялись в прах, столкнувшись с неустроенностью народной жизни, ее глубокими противоречиями, трагическими конфликтами.

В обстановке наступившего кризиса гуманистических ценностей Шекспир сумел, опираясь на их изначальный смысл, создать потрясающую по своему реализму картину окружающей его действительности. Не будет преувеличением утверждать, что социально-критический пафос нарисованной им картины сравним в истории английской общественно-политической мысли XVI в. только лишь с характеристикой положения дел в Англии, которую мы находим в «Утопии» Томаса Мора.

О человеке, его моральных и духовных потенциях Шекспир писал и христиански-смирненно («квинтэссенция праха»), и язычески-восторженно («что за мастерское создание — человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях... Как он похож на некоего бога! Краса Вселенной! Венец всего живущего!») (там же).. Но почему же сообщество этих «полубогов» не только не вызывает у Шекспира восторга, но кажется ему «тяжело больным», страдающим «абсолютным моральным недугом»?<sup>2</sup> «Все мерзостно, что вижу я вокруг», — восклицал поэт в 66-м сонете.

Бессмысленность, жестокость и порочность окружавших его распорядков выступают на авансцену не только в трагедиях Шекспира, но и в исторических хрониках. Зло, разъедающее все связи, все моральные ценности, оставляет человека наедине с собой. Даже крик отчаяния не может преодолеть окружающую его пустоты и дойти до ближнего. Зло не как стечение случайных обстоятельств, не частное, а торжествующее повсюду, повсеместно. Все в обществе им отравлено: истина, доверие, справедливость, любовь. Человеку не на что опереться. Дети? Но они только дожидаются отцовского наследства: из-за него сын замышляет убийство отца. Жена? Но она предаёт умершего мужа, еще не



осушив показных слез. Друзья? О боже, защити от друзей — этой личины коварнейших врагов. Мир раздвоился, моральные ценности оказались с «двойным дном», видимость насквозь обманчива, сами понятия лишились былого содержания и играют с человеком злые шутки. Одним словом, сообщество, в котором протекает человеческая жизнь, полно бессмысленностей, несправедливостей, оно неразумно.

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж  
 Достоинство, что просит подаянья,  
 Над простотой глумящуюся ложь,  
 Ничтожество в роскошном одеянии,  
 И совершенству ложный приговор,  
 И девственность, поруганную грубо,  
 И неуместной почести позор,  
 И мощь в плену у немощи беззубой;  
 И прямоту, что глупостью слывет,  
 И глупость в маске мудреца, пророка,  
 И вдохновения зажатый рот,  
 И праведность на службе у порока...

*Сонет 66*

И хотя социальный контекст в этом описании «современных нравов» переплетен с моральным, он тем не менее выступает с полной очевидностью. О том, что это не было выражением случайного наплыва чувств, свидетельствуют следующие весьма созвучные этому сонету строки:

Кто снес бы плети и глумленье века,  
 Гнет сильного, насмешку гордеца,  
 ...Судей медливость,  
 Заносчивость властей и оскорбленье,  
 Чинимые безропотной заслуге...

*«Гамлет», III, 1*

Если перед Гамлетом этот, мир предстает как «дикий сад, заросший сорняком», в котором зреет все, что в природе есть дурного и грубого, то это потому, что открывшееся ему зло по масштабу — зло «вселенское»: «бесплодны все мне кажутся дела на этом свете»; «из людей меня не радует ни один» (там же, II, 1).

В чем же усматривал Шекспир причину моральной порчи современного ему общества? В отличие от христианских моралистов, он не считал эту порчу «изначальной», т. е. следствием грехопадения. В его глазах она — явление историческое: человек поставлен в новые условия существования. Если он как общественный индивид у Шекспира — надысторичен, то «природа», мораль его подвержены влиянию и изменениям<sup>3</sup>. Действительность, какой она виделась Шекспиру, вносила в человека «порчу»: его «природа» становилась «больной» (отсюда — «больная», «страдающая совесть»). Извращение человеческой природы приводило к извращению сути всех общественных связей, к нарушению социальной гармонии, к общественному хаосу. Личные отношения больше не существуют вне общества, за пределами социальной ответственности. Личное и общественное теперь взаимопроникают.

Каковы же наиболее губительные для общества причины морального недуга? Весь обширнейший перечень человеческих пороков сводится Шекспиром, по сути, к двум главным: жажде богатства и жажде власти. Стремление к богатству порождает скупость, алчность, хитрость, бессердечность. Под лучами золота испаряются все христианские добродетели и камнеет человеческое сердце. Жажда власти, в свою очередь, порождает лесть, коварство, вероломство, жестокость, гордыню, презрение к нижестоящим, погоню за показным величием и славой.

В сложное переплетение сюжетных линий трагедии «Король Лир» включена и притча на тему «Без обмана не разбогатеешь». Честность и прямотуши Корделии лишили ее отцовского наследства — она ушла из дома бесприданницей, в то время как хитрость и обман доставили ее старшим сестрам по «половине наследства» короля Лира вместо причитавшейся им «законной трети» его.

Богатство определяет не только характер отношений отцов и детей:

Отец в лохмотьях на детей  
Наводит слепоту.  
Богач-отец всегда милей  
И на ином счету.  
*«Король Лир», II, 4*

Так выродились люди...  
Что восстают на тех, кто их родил!  
*Там же, III, 4*

Мошна становятся критерием общественного положения человека, его достоинства.

А в знак того, что я гораздо больше,  
Чем я кажусь, вот вам мой кошелек...  
*Там же*

Погоня за блестящим металлом извратила суть понятий, назначение всех общественных институтов, и прежде всего назначение власти. Власть — «арбитр» между сословиями, «страж» справедливости, «защитница» слабых, какой она рисовалась в традиционных «увещаниях» и проповедях,— теперь больше не скрывала свою извечную суть прислужницы имущих. С тех пор как золото стало движущим нервом общественной жизни, в судах исчезло правосудие, судья поменялся местом с вором, правый с неправым, порок с добродетелью. Все прежние представления вывернулись наизнанку.

Ты уличную женщину плетью  
Зачем сечешь, подлец, заплечный мастер?  
Ты б лучше сам хлестал себя кнутом  
За то, что в тайне хочешь согрешить с ней.  
Мошенника повесил ростовщик.  
Сквозь рубища грешок ничтожный виден,  
Но бархат мантий прикрывает все.  
Позолоти порок — о позолоту  
Судья копье ломает, но одень  
Его в лохмотья — камышом проколешь.  
Виновных нет, поверь, виновных нет:  
Никто не совершает преступлений.  
Берусь тебе любого оправдать,  
Затем что вправе рот зажать любому.  
Купи себе стеклянные глаза  
И делай вид, как негодяй политик,  
Что видишь то, чего не видишь ты,  
*Там же, IV, 6*

И так же как Мор в свое время пришел к знаменитому заключению, что государство есть не что иное, как «заговор богатых против бедных», Шекспир сравнил государство со сторожевым псом на службе у богатых. Послушаем короля Лира: «Видел

ты, как цепной пес лает на нищего, а бродяга от него удирает? Это символ власти... Пес этот изображает должностное лицо на служебном посту» (там же).

Что же касается меры общественного зла, проистекавшего из обуявшей имущих жажды власти, то она мало в чем уступала злу, порождавшемуся жаждой богатства, ибо в конечном счете к нему же сводилась. Известно, что категория власти в эпоху абсолютизма вообще и абсолютизма Тюдоров в частности приобрела принципиально иной смысл в сравнении со средними веками (хотя цель власти, разумеется, оставалась той же) <sup>4</sup>. Поскольку единственным источником власти в стране стал король, то все лица, к власти причастные, могли быть лишь его «порученцами», агентами. Власть же «на местах» именем «родового права» ее носителей ушла в прошлое, стала анахронизмом. Если на языке политики этот переворот в конституировании власти означал конец феодальной раздробленности, то на языке «гражданского обихода» речь шла о том, что король стал единственным получателем публичных (государственных) доходов страны и, следовательно, монопольным их распорядителем <sup>5</sup>. Отсюда очевидно, что «жажда власти» в особенности в тюдоровскую эпоху, вовсе не означала, будто охваченные ею прослойки оспаривали королевский суверенитет. Вовсе нет. Речь шла для них лишь о месте «под сенью» короны, говоря проще — о степени причастности к королевской казне. Именно такой характер уже носила гражданская смута в Англии XV в. — война Роз; такова, по существу, подоплека эпидемии местничества, охватившей английское общество (в первую очередь английское дворянство) в XVI в. Масло в огонь подлило усилившееся при Тюдорах проникновение на государственные должности — вплоть до самых высоких — «неродовитых», «выскочек», «простолюдинов». То обстоятельство, что такие «новые люди», как Уолси (достигший сана архиепископа Кентерберийского и кардинала) или Томас Кромвель (сменивший Мора на посту лорда-канцлера королевства), оказались при дворе Генриха VIII на голову выше многих представителей «древних родов», должно было представляться последним «угрожающим самим основам» государственного бытия, поскольку традиционно власть рассматривалась как прирожденная функция и «право» знати. В результате местничество как общественное явление в Англии XVI в» имело две стороны: 1) соперничество «степеней» знатности в рамках дворянства «родовитого» и 2) соперничество между представителями последнего и «дворянства дарованного»<sup>6</sup>. За дикостью (с современной точки зрения) проявлений местничества скрывались мотивы, вполне объяснимые. Степень близости к вершинам власти — это мера благодатного дождя, который в виде пенсий, синекур, подарков и т. п. изливался на головы служителей трона. И хотя об английском дворянстве речь впереди, мы все же не можем не привести здесь известную сцену из пьесы «Генрих в которой изображено местничество в XV в.

С о м е р с е т.

Прочь, прочь, достойный Уильям Де-Ла-Пуль;

Беседовать с мужланом — много чести.

У о р и к.

Клянусь, его порочишь, Сомерсет:

Ведь герцог Кларенс Лайонел, который -

Эдварда Третьего был третьим сыном,

Дед Ричарду. Таких корней глубоких

Нет у мужлана, что лишен герба.

.....

С о м е р с е т.

Иль не был Ричард Кембридж, твой отец,

При Генрихе казнен, как злой изменник?

Иль той изменой не запятнан ты

И не изъят из древнего дворянства?

Отцовский грех живет в твоей крови;

Пока не обелишься, ты — мужлан.

«Генрих VI», ч. I, II, 4

Так рисовались современникам Шекспира да и ему истоки ужасной, растянувшейся на долгие десятилетия гражданской смуты, словесные истоки кровавой реки! И хотя местничество в XVI в. к чему-либо подобному привести уже не могло, тем не менее в различных формах и различных слоях оно еще сильно отравляло общественную жизнь в стране.

Итак, в той мере, в какой золото было способно доставить нуворишу и титул и власть, титул и власть, в свою очередь, ценились прежде всего как источник золота.

Все общественные связи отныне базировались на корысти я расчете, золота превратилось в конечную цель человеческой деятельности.

Неудивительно, что эталоном всех общественных связей стала открыто или завуалированно выступать сделка купли-продажи.

. «В наше продажное время, — замечает Фальстаф, — добродетель так упала в цене, что истинным храбрецам остается только водить медведей. Люди остроумные сделались трактирными слугами, и вся их изобретательность тратится на составление счетов. Все остальные качества, свойственные человеку, в наш подлый век, стоят дешевле крыжовника» («Генрих IV», ч. II, I, 2). В этом поставленном на голову, жестоком мире трудно стало дышать. Еще труднее стало думать. Там, где торжествует вселенское зло, разум превращается в пытку, наделенному им остается скоморошничать.

Отклонилась река жизни от исконного русла, и ее берега оказались усеянными людскими пороками. Однако, может быть, самое невообразимое отклонение от «исконного» порядка вещей заключалось в том, что вывернулся наизнанку смысл самого понятия «порок»<sup>7</sup>. Понимание порока как категории моральной, как свойства «природы» человека (присущего ему от рождения или приобретенного) сменялось представлением о пороке как о категории социально-имущественной. XVI век и здесь полностью отошел от средневековых «поучений». В самом деле, средние века льстили бедности, поднимали ее на ступень «святости» или по крайней мере приближали к ней на кратчайшее расстояние. Этика Возрождения и в особенности Реформации исходила из тезиса противоположного: бедность отождествлялась априори с пороком, она — зримый знак порока, более того, «гнездо», «источник» всевозможных пороков. Другими словами, бедность — свидетельство человеческой неполноценности ее носителя. И не было в елизаветинской Англии фигуры более осуждаемой и презираемой, более отверженной, чем бедняк. О бедняках говорили не иначе как о «подонках общества», «бродягах», заведомых «ворах»<sup>8</sup>.

Покуда нищий я, браниться стану  
И говорить, что худший грех — богатство:  
А став богатым, буду говорить,  
Что нет порока, кроме нищеты.

Все различие в социально-этической значимости этих оценок заключалось в том, что греховность богача имела отношение к его статусу в «мире потустороннем», в то время как «порочность» бедняка указывала на его статус в жизни земной, т. е. в обществе. Очевидно, что этика, построенная на данном принципе, не могла не быть классово ярко выраженной, эгоистичной. И это наиболее убедительное свидетельство бессодержательности — в плане социальном — абстрактного идеала ренессансной личности. Его историческая ограниченность обнаруживается, в частности, в том, что в этом идеале добродетель имущественной обеспеченности, освобождающей от изнурительного физического труда, была чем-то вроде молчаливой предпосылки. Нет ничего удивительного, что за пределами круга самих гуманистов личность, наделенную выдающимися моральными и духовными качествами (если следовать указанному идеалу), имело смысл искать почти исключительно в среде «сенаторского класса»<sup>9</sup>. Сама мысль о возможности обнаружить подобную личность среди пахарей и поденщиков, горшечников и медников показалась бы просвещенному уму дикой, в частности в условиях

тюдоровской Англии. Недаром же все наставления о воспитании по примеру трактата Элиота «Правитель» адресовались дворянам — как прирожденным магистратам.

Между тем Шекспир неоднократно повторяет мысль, что ограничить человека заботой о хлебе насущном — значит свести его до уровня животного, лишить его всех возможностей проявить свое подлинное, духовное, творческое призвание. «Сведи к необходимости всю жизнь,— заметил Лир,— и человек сравняется с животным» («Король Лир», II, 4). Так же думал и Гамлет:

Что человек, когда он занят только  
Сном и едой? Животное, не больше,  
Тот, кто нас создал с мыслью столь обширной,  
Глядящей и вперед и вспять, вложил в нас  
Не для того богоподобный разум,  
Чтоб праздно плесневел он...

*«Гамлет», IV, 4*

К этому замечательному рассуждению Гамлета требуется лишь небольшой комментарий. Одно дело — люди, по своей воле считающие «еду и сон» высшим благом на земле, другое дело — люди, поставленные в общественные условия, вынуждающие их всю жизнь смотреть на вещи так же. Первых гуманисты по достоинству высмеяли, вторых просто не замечали. Моралисты Возрождения наиболее интенсивно разрабатывали проблему моральной ответственности личности перед обществом. Индивид обретает, утверждает себя только в обществе себе подобных, через общество. Между тем Шекспир ясно различал и другую сторону этой проблемы — социальную ответственность общества за судьбу индивида, за то, в какой мере условия позволят ему проявить, реализовать свои «божественные потенции». Только очень немногие гуманисты XVI в. заметили эту сторону проблемы — человек и общество<sup>10</sup>.

### **Тираноборческие идеи**

В картине общественной организации, как она рисовалась человеку XVI в., королевской власти принадлежало центральное, ключевое место. В ней усматривали начало и конец всех общественных связей, истоки «общественного блага» или социальных зол, обрушивавшихся на народ. Разумеется, это была идеализация роли государственного начала в общественной жизни. Однако она не столь уж далека была от действительности. Если вспомнить, что речь идет об эпохе абсолютизма, когда стечение исторических обстоятельств действительно дало возможность королевской власти возвыситься настолько, чтобы па время превратиться в вершительницу судеб европейских народов, то значение, которое придавалось ей в общественном сознании интересующей нас эпохи, легко объяснить.

Почти одновременно с новой (позднефеодальной) формой государственности возникло и новое политическое учение. Его создателем был итальянский гуманист Макиавелли. Известно, для того чтобы вскрыть природу публичной власти как таковой, Макиавелли счел нужным освободить эту категорию от всех элементов житейской морали, которые в его глазах только затемняли суть дела. И в этом действительно заключалась предпосылка превращения политики в науку. Однако политическая мысль Англии XVI в. продолжала двигаться в традиционном русле средневековых доктрин. Она просто не была в состоянии рассуждать о политике иначе, как в связи с личной моралью правителя, ее осуществляющего<sup>11</sup>. И это потому, что общественное сознание тюдоровской Англии еще не видело различий между моральными основаниями отношений частных и публичных отношений между «соседями», с одной стороны, и между королем и его подданными — с другой. Кем бы ни был король с точки зрения политической доктрины, поскольку он смертен — он человек, а потому ко всем его

поступкам применимы постулаты «общечеловеческой» морали, и первым среди них являлся в глазах современников Шекспира принцип «добрососедской взаимности».

Одно из величайших открытий Лира — открытие его родства с бедняком, у которого даже нет лохмотьев, чтобы защитить тело от непогоды. «Лучше бы тебе лежать в могиле, чем подставлять свое голое тело под удары непогоды. Неужели вот это, собственно, и есть человек? Присмотритесь к нему. На нем все свое, ничего чужого. Ни шелка от шелковичного червя, ни воловьей кожи, ни овечьей шерсти... Все мы с вами поддельные, а он — настоящий. Неприкрашенный человек и есть именно это... голое двуногое животное и больше ничего. Долой, долой с себя все лишнее» («Король Лир», III, 4). Такой должна быть точка отсчета во всех рассуждениях о венценосцах. Разумеется, Лир сделал свое открытие не восседая на троне, а при обстоятельствах для короля чрезвычайных, когда он сам оказался в положение бездомного бродяги, на пустыре, застигнутый неистовствующей бурей. Точно так же и Ричард II открыл для себя ту же истину только тогда, когда корона Англии стала ускользать из его рук.

Итак, чтобы применить моральные критерии к королевской власти, нужно было прежде всего очеловечить ее носителя. И тогда цель этой власти будет заключаться в гарантии «справедливости». Как и его современники, Шекспир не сомневался, что вне государства, т. е. в конечном счете вне существующей монархии, эта цель не достижима. Следовательно, подлинная проблема заключалась в том, при каких условиях королевская власть может обеспечить подданным это желанное «царство справедливости».

У Шекспира и его современников — если об Аристотеле они были бы только наслышаны — имелось много возможностей на опыте прийти к пониманию фундаментального различия между королем и тираном: тиран блюдет только личные интересы, король заботится об интересах народа. Для первого государство есть прежде всего воплощение его воли, для второго его назначение — «благо общества». Общество же есть не что иное, как взаимосвязь и взаимозависимость членов, его составляющих, включая и государя, оно есть выражение нужды одного человека в другом<sup>12</sup>. Здесь проходит водораздел между концепцией произвольной власти, власти как родовой или приобретенной монополии — и концепцией власти как моральной ответственности, обязательства перед теми, над кем она осуществляется. «Добрый правитель» не рассматривает возвышение над народом как освобождение своего «я» от моральных уз, связывающих человека с человеком, оно есть их лучшее проявление. Социально-этическое истолкование природы, целей и средств публичной власти характерно не только для таких «политических» драм Шекспира, как «Кориолан» и «Юлий Цезарь», но и для хроник. В конечном счете оно восходит к гуманистическому идеалу государя: народ «выбирает» правителя для собственной, а не для его пользы. Государство «учреждается» для того, чтобы благодаря заботам королей и их усилиям подданные могли жить в безопасности и были ограждены от несправедливости. Поэтому государь, подобно пастуху, должен пасти своих овец и беречь их от волков.

Если какого-нибудь монарха настолько не уважают и ненавидят подданные, что он может сохранить власть не иначе как с помощью страха, то для него лучше оставить престол, чем удерживать его всеми возможными средствами.

Шекспир ни разу не ставил под сомнение политическую целесообразность сословного членения современного ему общества, его аристократический строй, но вместе с тем он вскрывал более глубоко лежащие основы всякого общественного устройства: — принцип взаимозависимости правителя и управляемых. В этой «общности человеческого начала», объединяющего короля с подданными, «общности», которой не могли скрыть ни титулы, ни сан, он усматривал основание принципа «взаимности», который единственный цементирует государство, гарантирует его устойчивость и долговечность<sup>13</sup>.

Вспомним, как Генрих V, переодевшись простым воином, в ночь накануне решающей битвы при Азинкуре (1415) беседует со своими солдатами. «Ведь, между нами говоря, король — такой же человек, как я,— замечает он.— Фиалка пахнет для него так

же, как и для меня; небо представляется ему таким же, как и мне; все чувства у него такие же, как у всех людей. Если снять с него королевские его уборы, он окажется в наготе своей обыкновенным человеком, и, хотя его стремления взлетают выше наших, они опускаются на землю так же, как у всех нас» («Генрих V», IV, 1). И в другом месте:

Коль царственную пышность исключить?  
То что же ты такое, идол — пышность?

Итак, король — всего лишь человек. Вся символика его величия — мишура. Чего стоят претензии на божественность и непогрешимость, если их олицетворяет подверженный всем слабостям смертный, если все завершается превращением его в «кусоч глины», разве что пригодной для замазки щелей, чтобы остановить ветер («Гамлет», V, 1).

Не потому ли Генрих V наиболее близок к шекспировскому идеалу «добротого короля», что именно его устами наиболее отчетливо выражено сознание родства «всех людей» (невзирая на их сословные различия). Из этого сознания и вытекали: во-первых, сама возможность «доверия» подданного к правителю, принцип «послушания», во-вторых, «моральная ответственность» государя за свои деяния перед подданными.

Эту взаимосвязь выразил один из «собеседников» Генриха V — воин по имени Вильямс. «Да, но если дело короля неправое, с него за это взыщется, да еще как. Ведь в судный день все ноги, руки, все головы, отрубленные в сражении, соберутся вместе и закричат: „Мы погибли там-то!“. И одни будут проклинать судьбу... Боюсь, что немногие солдаты умирают... с благочестивыми мыслями, когда у них одна кровь на уме? И вот если эти люди умрут не так, как подобает, тяжелая ответственность падет на короля, который довел их до этого...» («Генрих V», IV, 1). Та же идея моральной ответственности короля перед подданными в известном монологе Генриха передана следующим образом:

Все, все — на короля! За жизнь, за душу,  
За жен и за детей, и за долги!  
И за грехи — за все король в ответе!  
*Там же*

Совершенно очевидно, что речь идет об «идеальном короле», которого действительная история не знала. Исторические короли Англии — либо узурпаторы и рабы собственной прихоти, либо никуда не годные правители, вскармливавшие временщиков-тиранов.

Изображая историю английских королей как постоянный конфликт между произволом государя (исповедующего концепцию власти «божьей милостью») и интересами народа (испытывающего на себе горестные последствия его политики), Шекспир раскрывает глубоко трагедийный характер публичной власти (основанной на этом коренном противоречии). При этом отчетливо выступают две стороны трагедийного: внешняя (обреченность всякой власти, основанной не на «любви народа», а на страхе и рабском послушании королю) и внутренняя, личная (правитель рано или поздно предстает перед судом своей совести). Напрашивается вывод: ни один человек не достоин королевского венца, ибо, не будучи богом, он не может быть эталоном справедливости. Но если это так, то узурпатор, наделенный умом и «добротой волей», более полезен на троне, чем глупец, увенчанный короной по наследству. Порочный, но «законный» король нередко сохраняет корону ценой столь же кровавой, что и захват трона узурпатором. Для «общего блага» важно не то, каким путем добыл король корону, а то, каким человеком оказался ее обладатель. Беды, проистекавшие для народа от пребывания на троне порочных королей, неисчислимы. Но судить правителя, согласно тюдоровской концепции «порядка», подданные не вправе:

Избави боже!..

Как может подданный судить монарха?..  
 Божьего величия подобье.  
 Правитель, вождь, наместник, им избранный,  
 Помазанный, венчанный, полновластный,—  
 Судим ли будет подданным и низшим?..  
*«Ричард II», IV, 1*

Правители-тираны точно так же существуют благодаря попустительству божьему, как и «добрые» короли. В одном случае — это бич божий, ниспосланный народу за грехи, в другом — благодать. Восстать против тирана — значит восстать против неисповедимой воли божьей. У верующего нет альтернативы: его долг неукоснительное послушание любому правителю. «Абсурдно, чтобы мятежники, являющиеся худшими из людей, превратились в судей над королями, решая, кто из них добр и терпим. Но если даже король порочен и бесчестен и если очевидно для всех, что он таков, восстание — негодное и нежелательное средство. Если правители порочны, то потому, что бог этого желает как воздаяние [подданным] за прошлые грехи. Поэтому непозволительно разрешать кому-либо судить в таких делах. Единственное, что остается подданному,— молиться... Восстать — значило бы прибавить новый грех к тем, что уже совершены. Воздаяние принадлежит лишь господу»<sup>14</sup>.

В хрониках Шекспира, разумеется, мы не найдем теоретического обоснования права подданных низлагать короля-тирана, но зато тем большее значение приобретает освещение в них тех периодов истории, когда короли действительно низлагались. В десяти пьесах на сюжеты новой (для современников Шекспира) истории Англии таких эпизодов три: низложение Генриха VI Эдуардом Йорком; вторжение в Англию Генриха Ричмонда и гибель Ричарда III в битве при Босворте; низложение Генрихом Болингброком Ричарда II.

Смысл первых двух событий крайне затемнен: в первом случае характером Генриха VI, во втором — тюдоровским мифом.

Во-первых, Генрих VI никак не мог быть изображен королем-тираном, хотя его неспособность управлять создала предпосылки для произвола временщиков. Его низложение трактуется поэтому как акт, продиктованный то честолюбием Йорков, то политической необходимостью. Правда, сам Генрих VI видит свою вину в том, что его безвольность разожгла честолюбие герцога и тем самым ввергла страну в кровавую усобицу: «Как станет вся страна за эти муки клясть государя в горе безутешном» («Генрих VI», ч. III, II, 5).

Тем не менее в акте низложения и последовавшего за этим умерщвления Генриха VI нет ничего тираноборческого. Клятва, верности новому королю не воспринимается как измена.

К о р о л ь Г е н р и х.  
 На царство в колыбели я помазан;  
 Отец и дед мой были королями,  
 И клятву верности вы дали мне.  
 Скажите ж, не нарушила вы клятву?  
 П е р в ы й с т о р о ж.  
 Нет:  
 Пока царили вы, верны мы были.  
*Там же, III, 1*

И уж вовсе нет ничего тираноборческого в акте убийства Генриха VI Ричардом Глостером:

Когда убийство жертв невинных — казнь,  
 То кто же, Глостер, ты, как не палач?



*Там же, V, 6*

В отличие от Генриха, Ричард III — классический для тюдоровской историографии образ тирана, Неудивительно, что история его падения содержит поэтому, немало тираноборческих мотивов. Вспомним речь Ричмонда перед решающей битвой:

Уж с вами говорил я, земляки...  
 Одно запомните — что бог и право  
 Сражаются на нашей стороне...  
 ...Друзья, ведь правда,  
 Что он тиран кровавый и убийца,  
 В крови поднявшийся, в крови живущий,  
 Не разбиравший средств, ведущих к цели,  
 Убивший тех, кто средством в этой был...  
 Коль вы потрудитесь тирана свергнуть,  
 Заснете сладко вы, убив тирана.

*«Ричард III», V, 3*

Достаточно сопоставить эту речь Ричмонда с тюдоровской ортодоксией послушания, чтобы обнаружить, насколько она отклоняется от последней. Какими бы путями Ричард ни добыл корону, он был венценосцем «по праву»: ведь он — Йорк!

Узурпация Ричарда нарушила порядок престолонаследия, но не свергла правившую династию и, следовательно, не могла оправдать появление нового узурпатора. Между тем «право» Ричмонда на английскую корону было куда меньшим, чем у Ричарда Глостера. Отсюда подчеркивание Ричмондом «тиранического» характера правления Ричарда, чтобы самому предстать избавителем страны, а не узурпатором ее короны, мятежником против законного короля. Речь Ричмонда перед битвой при Босворте была бы истинным образцом тираноборческой проповеди, если бы не одна особенность — изображение (в соответствии с тюдоровским мифом) предприятия Ричмонда как акта провидения. В самом деле, в этой речи Ричмонд предстает не как политик, не как выразитель мирского порядка или гражданской нравственности, а как простое орудие всевышнего. Дело Ричмонда — дело божье, его мотивы и оправдание — в неисповедимой воле ей. Иначе не понять эту сверхчеловеческую самоуверенность Ричмонда, его предсказание благоприятного исхода битвы и т. д. В ранее цитированной проповеди говорится: «Если случайно восстание [против короля] оказывается успешным, то это только потому, что господь избрал мятежников как орудие своего дела»<sup>15</sup>.

В таком случае, разумеется, от идеологии тираноборчества мало что остается.

Обратимся теперь к третьему эпизоду — низложению Ричарда II. Однако в данном случае требуется большое отступление. Дело в том, что к концу правления! Елизаветы история низложения Ричарда II неожиданно приобрела животрепещущий политический характер. Она широко использовалась многоликой оппозицией королеве в антиправительственной агитации в качестве исторического прецедента и юридического аргумента.

Так, в 1584 г. увидел свет анонимный памфлет под названием «Копия письма, написанного магистром искусств Кембриджа своему другу в Лондоне относительно беседы двух почтенных людей о современном положении и некоторых действиях графа Лейстера и его друзей в Англии» (авторство приписывается иезуиту Парсонсу). Главное обвинение, выдвинутое против Елизаветы, заключалось в том, что она окружила себя фаворитами, которые руководят ею, вместо того чтобы прислушаться к совету тех, кто заслуживает доверия. «Короли и королевство часто терпели крушение из-за неумеренного расположения к лицам, его не заслуживающим». В качестве подтверждения приводились примеры из истории Англии: низложение Эдуарда II (из-за чрезмерного фавора к Гавестону и двум Спенсерам), Ричарда II (из-за чрезмерного расположения к графу

Оксфордскому) и др. Мораль была ясна: короли могут низлагаться, когда этого требует благо государства. С тех пор судьба Ричарда II все чаще воспринимается и как предупреждение королеве, и как прямой призыв к действию <sup>16</sup>.

Итак, ситуация в Англии в правление Елизаветы превратила в монархомахов иезуитов, подобно тому как при Марии Тюдор ими являлись протестанты. Устами «доктора гражданского права» автор «собеседования» провозглашает «право государства освободиться от правительства тирана, тигра, льва, жадного волка, врага общества, кровавого убийцы». «Есть много примеров,— продолжает он,— когда христианские государства низлагают своих правителей и господь споспешествует им в этом, ниспосылая им очень хороших правителей (взамен низложенных.— *М. Б.*)». Далее, имея в виду судьбу Ричарда II, автор одобряет такой способ действий: во-первых, низложение этого короля совершилось без убийства, во-вторых, король был низложен парламентом и по его «добровольному согласию».

В 90-х годах внутривластная ситуация в Англии многим напоминала ситуацию, предшествовавшую вторжению в Англию Генриха Болингброка. «Великое правление» заканчивалось, когда все сильнее ощущались признаки глубокого кризиса. Упадок торговли, продолжающиеся огораживания множили армию бездомных и бродяг; все более ясно проявлялось общественное недовольство, участились локальные беспорядки и мятежи. На этом фоне бросаются в глаза распространение пуританизма, рост оппозиции королеве в парламенте, наконец, все менее успешная борьба с Испанией. В 1597 г. Эссекс возглавил экспедицию против Испании. Однако вместо нападения на испанские гавани, как планировалось, он направил корабли к Азорским островам с целью перехватить «Золотой флот». Потерпев полную неудачу (испанцы изобрели систему конвоирования судов), Эссекс вернулся в Англию с пустыми руками. Времена великих флибустьеров канули в лету. «Весь механизм моего правления,— жаловалась Елизавета французскому королю,— мало-помалу приходит в негодность».

Тень Эссекса нависла над Англией. Его честолюбие все чаще вызывало на ум Генриха Болингброка. В письме Рауленда Уайта Роберту Сиднею от 5 ноября 1595 сообщалось: «В последний понедельник королева Елизавета показала графу Эссексу напечатанную книгу, в которой содержалась опасная похвала в адрес графа... По возвращении от королевы он выглядел бледным и огорченным. Он был очень болен». Среди государственных бумаг того времени есть заметка: «О мятежной книге, касающейся наследования короны Англии», показывающая, что автор оправдывает изменения в порядке наследования и выступает против короля Шотландии <sup>11</sup>. В 1598 г., в канун отправки Эссекса в ирландскую экспедицию, появилась книга под названием «Первая часть жизни и правления Генриха IV», которую автор (сэр Джон Хейуорд) посвятил графу Эссексу. В обращении к читателю говорилось, что смена на престоле Ричарда Генрихом IV — «живой пример». Из 149 страниц книги 136 были посвящены Ричарду II. Таким образом, заглавие книги скрывало истину; это была книга о Ричарде II. По существу, в ней оправдывалось низложение этого короля. Однако, чтобы скрыть такую позицию, в книге приводилась речь епископа Карлейля, выступившего против данного акта. Не одобряет епископ и передачу короны Генриху Болингброку. Если Генрих искал корону как наследник, он должен был дожидаться смерти Ричарда. Если он ее получил по праву завоевания, то кто королевского подданного назовет завоевателем? Ричард не мог при жизни на законном основании отдать свою корону, поскольку он даже не вправе отчуждать драгоценности, ей принадлежащие <sup>18</sup>.

Известно, что Эссекс в том же 1599 г. самовольно вернулся из Ирландии и вскоре был взят под стражу. В июне 1600 г. его судили и оставили под стражей. На суде его поступки связывались с книгой Хейуорда. В июле того же года Хейуорд был вызван на допрос в Тайный совет и заключен в Тауэр. Архиепископ Кентерберийский распорядился: вырезать из книги Хейуорда посвящение Эссексу, все последующие издания ее сожжены. В августе 1600 г. Эссекса по распоряжению Елизаветы освободили из-под

стражи. Он пытался заслужить расположение королевы, надеясь снова получить откуп на торговлю сладкими винами, приносивший огромный доход, но ему было отказано. Запутавшийся в долгах, Эссекс оказался в тупике. Его сторонники начали готовить мятеж. 6 февраля 1601 г. некоторые из них явились в театр Шекспира («Глобус») с требованием поставить драму о «низложении и убийстве короля Ричарда II». Актеры этому воспротивились, доказывая, что пьеса давно сошла со сцены и соберет мало зрителей. Но когда им обещали сумму более значительную, чем обычно приносил спектакль, сопротивление было сломлено.

7 февраля драма о «короле Ричарде» была показана, галереи театра заполнили сторонники Эссекса, а 8 февраля они вышли на улицы Лондона. Мятеж не удался, и его участники оказались в Тауэре. 19 июня Эссекс предстал перед судом и вскоре был обезглавлен. На суде ему предъявили обвинение в том, что на протяжении пяти-шести лет он готовил заговор с целью захватить корону Англии. Одним из доказательств этого обвинения служила посвященная Эссексу книга Хейуорда, а также спектакль о Ричарде, сыгранный по требованию мятежников. Характерно, что в изданиях драмы Шекспира о Ричарде II (1597 и 1598) сцена низложения Ричарда отсутствовала. Она восстановлена только в издании 1608г.

Мы столь подробно рассмотрели вопрос о политическом звучании истории Ричарда II (в последнее десятилетие правления Елизаветы), чтобы очевиднее стали тираноборческие мотивы в этой хронике Шекспира<sup>19</sup>. Итак, история Ричарда II — единственный в хрониках Шекспира эпизод, в котором мотивы низложения короля были даже в освещении тюдоровской историографии окрашены в тираноборческие тона. И хотя Шекспир ввел в драму всю аргументацию тюдоровской ортодоксии (относительно священности и нерушимости титула «помазанника божия»), она не могла затмить сам факт исторической победы аргументов прямо противоположных. Ведь Ричард, вопреки предупреждениям Карлейля, был все же низложен, более того, он сам «пожелал» участвовать в церемонии собственного низложения и передачи власти Генриху Болингброку. Для этой драмы — одной из наиболее «политических» среди хроник Шекспира — прежде всего характерно то, что в ней, по сути, отсутствует мотив провиденциализма. Низложение Ричарда II выступает как дело почти исключительно рук человеческих — как результат их свободного и сознательного решения. В самом деле, Генрих Болингброк ни разу не ссылается на волю божью. Его главный мотив — мотив политический: необходимость государственная,

К о р о л ь Г е н р и х.  
 Видит бог, об этом я не думал,  
 Если бы не нужды государства,  
 Не сочетался б я вовек с величьем.  
*«Генрих IV», ч. II, III, 1*

Вторая, и, может быть, еще более важная, особенность анализируемой хроники заключается в том, что восстание против «законного монарха» рисуется в ней не только как дело рук феодальной знати, другими словами, что тираноборчество не носит на себе печать разновидности феодальной смуты. Шекспир это много раз подчеркивает ссылками на «страну», «государство», на поведение солдат, лондонцев и т. п. Это не обычный мятеж феодальных лордов — речь идет о воле народа, которая в конечном счете обеспечила успех Болингброка. С другой стороны, в драме разоблачены попытки Ричарда II связать свои интересы с провидением. Каждый раз, когда Ричард, не способный действовать как политик и военачальник, говорит о надежде на помощь неба, Шекспир находит повод разоблачить ограниченность, беспочвенность, иллюзорность подобных упований.

Итак, ортодоксии вопреки провидение осталось в стороне, и это потому, что от короля отвернулся народ. Речь идет, по сути, о всенародном выступлении против короля.

Белобородые на голый череп  
 Надели шлем, грозя тебе; мальчишки.  
 Стараются басить и заключают  
 В доспех тяжелый женственное тело,  
 Чтоб против власти выступить твоей.  
 Монахи учатся гнуть лук из тиса...  
 Грозя престолу;  
 И даже пряжи ржавым топором  
 Грозят венцу. Восстали стар и мал.

*«Ричард II», III, 2*

Убежденный в божественной природе собственной власти, Ричард II сделал вывод о безнаказанности своих действий, сколь произвольными они ни были. Но история его правления раскрыла глубокую ошибочность подобной концепции власти. Оказалось, что она основана на неписаном «договоре», на принципе «взаимности», нарушение которого наказуемо еще здесь, на брэнной земле. Эту концепцию развивает не какой-то один персонаж драмы — к ней сводится «моральный урок», заключенный в пьесе.

### **Аристократические верхи**

Мир Шекспира многолик. В поле его зрения, необычайно обширном, и такая этическая ценность елизаветинского общества, как «знатность».

Известно, что средневековая концепция знатности почти полностью базировалась на родословной, т. е. на принципе унаследования «благородной крови» от более или менее длинной цепи аристократических предшественников. Не отбрасывая этого критерия, гуманисты считали необходимым дополнить его критерием личных доблестей и моральных достоинств («virtu»). В конечном счете действительность традиционного критерия проверяется с помощью второго: выдающаяся доблесть и моральное превосходство, продемонстрированные в публичных делах, на службе государству, удостоверяют «цену» унаследованного титула. Наконец, одним из проявлений «virtu» в глазах гуманистов становится образованность. Знания — в известном смысле тоже проверка истинной знатности. В жизнеописании Пико делла Мирандолы, переведенной Мором, много места уделяется его учености. В частности, там сказано, что знания, «которые мы можем считать своими, в гораздо большей степени говорят о человеке, чем знатность его предков».

Перенесение центра тяжести на личные достоинства человека означало, что, чем более высоким является ранг знатности человека, тем больше требований должно предъявляться к личным его достоинствам. Унаследованный статус, таким образом, — не индульгенция, а обязательство, вексель, по которому наследник должен платить.

Однако превращение личных достоинств человека в критерий, удостоверяющий его благородство, не означало ниспровержения традиционного принципа наследственной знатности и перебазирования всей аристократической структуры на фундамент, краеугольными камнями которого являются личные заслуги. Отнюдь нет. Хотя Англия в XVI в. знала немало примеров возвышения простолюдинов благодаря их дарованиям или богатству (вплоть до верхних ступеней служилой иерархии), тем не менее гуманисты были далеки от мысли сменить наследственную аристократию аристократией таланта («добродетели не украшаются знатностью, а, наоборот, знатность украшается добродетелями»). Все сводилось к призыву: «Будьте достойны ранга». Так, Монтень придавал решающее значение личным достоинствам в сравнении с наследственным титулом человека, и все же он хотел бы их совместить. «Знатность, — отмечает он, — достойное и ценное качество, учитывающееся на здравом основании, но, поскольку оно во многом зависит от других [оснований], оно (в оценке личности) уступает личным достоинствам»<sup>20</sup>. Скорее всего, речь шла о том, чтобы использовать категорию «истинное

благородство» для размежевания в рядах самой старой знати, для отбора из ее среды действительно достойных, истинных носителей «virtu» и тем самым заслуживающих своего высокого положения в государстве. Недаром все книги о воспитании того времени адресуются прежде всего титулованной знати.

Итак, цель всех ренессансных рассуждений насчет критериев «истинного благородства» заключалась не в том, чтобы облагородить простолюдина, а в том, чтобы возвысить знатного до морального и духовного уровня, к которому его обязывает сословный статус. Известный афоризм Филиппа Сиднея: «Я не геральдист, чтобы исследовать родословную людей, для меня достаточно, если я знаю их достоинства» — скорее относится к области личной морали гуманистов. Что касается социальной этики, то в ней господствовала презумпция, согласно которой знатный рожден с лучшими наклонностями и восприимчивостью к добродетели. Отсюда делалось заключение: знать — украшение государства.

Мы видим, таким образом, огромный разрыв между постулатами частной морали гуманистов и нормами их социальной морали. Ту же двойственность в истолковании понятия «знатность» легко обнаружить и в пьесах Шекспира: знатность как принадлежность родовая, сословная и благородство как характеристика личных достоинств человека. Наиболее ярким примером служит король Лир. Нет сомнения в том, что Лир благороден, и вовсе не потому, что он король, это свойство его натуры, оно выступает тем явственнее, чем дальше он отстоит от реалий, связанных с обладанием королевской властью. Лир униженный, бездомный, скитающийся в непогоду с непокрытой головой, по собственному убеждению, остается королем: на нем неизгладимая «печать сана».

Знатными являются и Гамлет, и Макбет, и в определенном смысле Отелло. Создается впечатление, что и Шекспир был убежден: истинное благородство имеет смысл искать только в среде представителей родовой или служилой знати. Однако, как уже подчеркивалось, Шекспир не декларирует этических идеалов, а исследует их в контексте истории. И здесь обнаруживается истинная суть абстрактных ценностей. Этика знати, если она традиционная, настолько себя изжила, что вместо восхищения способна вызвать лишь иронию, отвращение и возмущение; если же она ренессансная, то поразительно, как часто стремление проявить свои доблести порождает антисоциальную практику ренессансной личности, и более того — монстра. Как отмечал Элиот, «каждое» благородное сердце жаждет славы, но лестница, ведущая к ней, требует сердца не содрогающегося. Здесь заложен ключ не только к трагедии Макбета, но и к образу Хотспера — символа традиционной сословной этики знати: здесь объяснение истории его антипода — Генриха IV.

В драмах Шекспира мы, таким образом, находим массу оттенков в трактовке ценности, которая именуется «знатностью». Наиболее отчетливо сословное возвышение дворянства отрицается представителями простолюдин. Устами могильщика Шекспир утверждает: «Нет стариннее дворян, чем садовники, землекопы и могильщики, они продолжают ремесло Адама» («Гамлет», V, 1). Гамлет раздумывает над бренностью земных почестей и титулов, наблюдая за могильщиком, который выбрасывает на поверхность череп. Кому он мог принадлежать: придворному, которому величие не позволяло замечать простых смертных, или лорду, кичившемуся славой предков?.. А теперь церковный сторож бьет его по скулам лопатой. «Поразительное превращение» (там же).

Наконец, в драме «Все хорошо, что хорошо кончается» глашатаем воззрений, отрицающих превосходство унаследованного титула над личной доблестью, выступает не кто иной, как король. Личное достоинство человека — более безошибочное основание для суждения о его благородстве, чем родословная. Когда граф Бертрам отказывается от брака с Еленой только на том основании, что она дочь бедного лекаря, король философски замечает: «Странно, что наша кровь, одинаковая у всех по цвету, весу и теплу, служит

причиной для различий» (II, 3). Однако в последнем случае ситуация исключительная: Елена, исцелившая безнадежно больного короля, тем самым могла претендовать на личное (дарованное ей) дворянство.

И все же не эти примеры определяют типичную для драм Шекспира концепцию социальной этики. Идеальным, по-видимому, ему представлялся аристократический строй, воплощавший в себе оба критерия: принцип родовитости в государстве и принцип личного достоинства человека в гражданском обиходе. Этот идеал провозглашен устами короля Генриха V:

...Мы ценим лиц ученых...  
Мы ценим родовитых...  
.....  
Украшенных дарами совершенства.»  
*«Генрих V», II, 8*

Однако в окружавшем Шекспира обществе все еще безраздельно царил принцип «лучшей крови», и это не могло не сказаться в тех случаях, когда в пьесах прямо или косвенно отражалась идеология «власть имущих».

В той же хронике «Генрих V» один из приближенных короля обращается к нему с просьбой:

Позвольте обойти нам поле битвы,  
Убитых сосчитать, предать земле  
Дворян отдельно от простых людей.  
*Там же, IV, 7*

Павших в сражении дворян называют по имени, у простых солдат нет имен, в лучшем случае справляются об их численности.

Только в одном отношении елизаветинское общество отступило от средневекового идеала знати: оно было враждебно старой феодальной знати — своевольной, мятежной, привыкшей вступать с королем в «отношения договорные», но не желавшей мириться с безраздельным господством королевского права, с положением подданных и королевских слуг.

И хотя ко времени Елизаветы такого рода знать была уже крайне малочисленной, тем не менее ее своеволие, вероломство, мятежность представляли определенную опасность для королевского мира. Уничтожающая характеристика этой знати содержится в драме «Генрих IV». Ее типичный представитель — Гарри Перси, сын графа Нортемберленда, весьма недвусмысленно прозванный «горячей шпорой». Слава — вот тот идол, которому Хотспер молится, служит, посвящает всю свою жизнь. Однако поле, на котором она произрастает, — не труд, не творчество, а война, кровопролитие. «Скорее смирюсь с утратой хрупкой жизни, чем гордой славы...» («Генрих IV», ч. I, V, 4). Хотспер безрассудно храбр, он признан первым рыцарем королевства.

Нет дворянина, признает его соперник принц Уэльский, кто бы был

...Средь дворян... такой  
Отважно юный, ревностно отважный,  
Бесстрашный рыцарь, что украсить мог бы...  
Подвигами наше время.  
*Там же, ч. I, V, 1*

Сам же он не скрывает, что им движет лишь мысль одна — о подвиге, неутомимая жажда славы, которую «делить не надо с соперником своим». Неудивительно, что он бредит войной: «Носов разбитых, черепов дырявых побольше нам давай!» (II, 3).

Разумеется, принц Генрих, в юности далеко не образец «благочестивой жизни», имел повод потешаться над безрассудной воинственностью Хотспера. Перебив до завтрака шесть или семь дюжин шотландцев, он затем, вымыв руки, обращается к жене: «Мне надоела эта спокойная жизнь! Мне не хватает «дела»!» — «О милый Гарри,— спрашивает она,— сколько человек ты убил сегодня?» — «Напоите моего Чалого,— говорит он и отвечает через час: — Человек четырнадцать, сущие пустяки» (там же). Поиск «настоящего дела» выливается для него в конечном итоге в заговор против короля и в мятеж, потрясший все королевство.

Ослушник королевской воли (Перси отказывается передать королю захваченных в плен шотландцев), он признает только одну форму связи с королем — «договорную», на условиях «уступка за уступку», иначе говоря, он признает себя не подданным, а только «договаривающейся стороной». Естественно, что рамки «королевского мира» ему тесны, поскольку «право» определяется для него лишь силой, к тому же королевскому праву он противопоставляет свое «родовое право». Итак, перед нами столкновение двух начал: государственного и феодального. Мятеж Перси — предвестник растянувшейся почти на целое столетие феодальной смуты и усобиц. Он — олицетворение тех общественно-политических нравов, которые известны в истории Англии как «незаконнорожденный феодализм»<sup>21</sup>.

Характерен «механизм» феодального (антигосударственного) заговора. Все заговорщики — родичи Хотспера: его отец, Нортемберленд, его дядя, Вустер, его шурина, Мортимер, тесть Мортимера — Глендауэр, наконец, шотландец Дуглас, всегда готовый воспользоваться внутренней смутой, чтобы поживиться на английской земле. Очевидно, что перед нами не «возмущенные подданные», не политическая оппозиция, не общественное движение, а выступление феодального клана, который хотя и не может претендовать на английский трон, но стремится им распоряжаться по своему усмотрению. «Коль жить, так королей свергать; коль смерть, так славная, чтобы принцы гибли с нами!» — провозглашает Хотспер (там же, V,3).

Еще одна деталь: восстание только «планируется», а его участники уже готовы сцепиться из-за неподеленной добычи. Англию делят на части руководители мятежа, и «идеальный рыцарь» Хотспер предстает скорее главарем банды грабителей, чем политиком, преследующим государственные интересы. «По-моему, — заявляет он, глядя на карту Англии, — владение мое от Бертона на север меньше ваших. Взгляните, как излучина реки большой кусок... моих владений лучших отрезает» (там же, III, 1).

Естественно, что при наличии сколько-нибудь эффективной центральной власти феодальный мятеж подобного рода был обречен на поражение. Нортемберленд под предлогом болезни не поддержал мятежников, Глендауэр с войсками задержался, Хотспер был сражен в поединке с принцем Генрихом, а Дуглас попал в плен. Таковы принципы этики и политики феодальной знати. А какова их изнанка? На этот вопрос призван ответить сэра Джон Фальстаф — рыцарь лишь по званию. Средневековая Англия — не Германия. Дворянин, лишенный имущества и доходов, не занятый ни на государевой, ни на частной службе и вместе с тем желающий жить, как «джентльмен», т. е. не зная физического труда, не может заниматься систематическим грабежом на большой дороге. Путь к виселице здесь сравнительно короток. Нужен недюжинный ум, изворотливость, ловкость и, если угодно, юмор, неистоимый юмор, чтобы долгое время получать в кредит пищу и ночлег<sup>22</sup>.

Оказавшись по воле судьбы вне рамок своего сословия и наблюдая окружающее со стороны, деклассированный дворянин выступает нередко пронизательным критиком «театра жизни». Оказавшись «на дне», он видит ее изнанку. Фальстаф воссоздает эпос целой эпохи. В данном случае мы остановимся только на одном высказанном им наблюдении, потрясающем и неожиданно открывшейся истиной, и мерой выхолощенности одной из величайших средневековых этических ценностей — чести.

Фальстаф, прикинувшийся мертвым на поле битвы, чтобы остаться в живых, затем, когда опасность миновала, вскакивает и наносит мечом удары уже сраженному — в поединке с принцем — Хотсперу, чтобы приписать себе победу над «первым рыцарем Англии». Именно он, изолгавшийся, трусливый, «жирный рыцарь», берется рассуждать на тему: что такое честь? И следует признать, что он убедительнейшим образом показал миру абсурдность феодального понимания этой ценности.

«Может ли честь приставить ногу? — задается вопросом Фальстаф и отвечает: — Нет. Или руку? Нет. Или уменьшить боль от раны? Нет. Значит, честь не очень искусный хирург? Нет.

Что же означает честь? Слово. Что же заключено в этом слове? Воздух... Кто владеет честью? Тот, кто умер в среду. А он ощущает ее? Нет... Слышит ее? Нет. Значит, честь не ощутима? Да, для мертвых она не ощутима. Но не может ли она остаться среди живых? Нет. Почему? Этого не допустит злословие. Поэтому я и не хочу чести. Она не более как щит с гербом, который несут за гробом (там же, V, 2). Таков новый век: предания о рыцарских подвигах питают буффонаду, рыцари превращаются в буффионов, буффионы пародируют рыцарей. Для этого достаточно, чтобы о чести поведал Фальстаф.

Итак, честь как монополюный атрибут знатности, как нечто, завоеванное индивидом исключительно для себя, вопреки общему благу, честь как военная добыча — цена бессмысленных убийств и кровопролитий, честь как повод для бесконечного местничества и соперничества, то и дело приводящих к новым смутам,— эта честь была с помощью здравого смысла низведена с пьедестала на землю, где она искони означала и нечто более глубокое, и неизмеримо более существенное и драгоценное в жизни народной.

### **Народные низы**

В XVI в., когда низы столь красноречиво продемонстрировали свою роль в судьбах народов и государств, достигшая вершины ренессансная историография объявила, как это ни парадоксально, двигателями истории одних лишь правителей, просвещенных и мудрых, ибо только они якобы знают пути достижения «общего блага». Отсюда двойственное отношение даже исторически мысливших гуманистов к народным низам: их бедственное положение вызывает у них искреннее сострадание, служит поводом для морализирования на тему о порочности сильных мира сего, «неустроенности» государства, толкает на создание проектов идеального государства и т. п.; вместе с тем они считают, что народные низы, отмеченные, по их мнению, всеми пороками невежества, должны «дождаться» улучшений сверху, т. е. оставаться объектом истории. Об их благе следует заботиться тем, кому дано знать, «что такое благо» и каковы пути его достижения. Каждая же попытка низов вмешаться в ход истории вызывает у гуманистов искренний ужас. Народные движения — бич государства, они разрушительны, угрожают хаосом и поэтому должны быть искоренены в христианском мире<sup>23</sup>.

Пример великого Мора более чем показателен. Известно, что среди гуманистов Европы XVI в. не было другого мыслителя со столь острым социальным зрением, столь глубоко проникшего в классовую сущность господствующих в стране порядков.

«Что это за справедливость,— заявляет он в «Утопии» устами путешественника Гитлодея,— что богатые банки и ростовщики... либо ничего не делающие, или занимающиеся тем, что приносит мало пользы общему благу, должны жить в таком богатстве и удовольствиях... Когда в то же время бедные работные люди, возчики, кузнецы, плотники и пахари, великим и постоянным трудом, подобно вьючным и упряжным животным, едва могут существовать. Между тем их труд столь необходим, что без него государство не могло бы просуществовать и года. Условия рабочего скота могут казаться много-лучшими в сравнении с жизнью бедных тружеников»<sup>24</sup>. Почему же этот великий обличитель социальных зол и пороков современного ему общества, после



написания «Утопии» выступил с решительным осуждением Крестьянской войны в Германии, вызванной, по его мнению, Реформацией?

Обрушиваясь на Лютера за отступничество от католической ортодоксии, он, между прочим, писал: «Весь свой яд Лютер приправил особым средством — свободой, которую он всячески восхвалял перед народом... внушая людям, что раз они верующие христиане, то Христу они приходится чем-то вроде двоюродных братьев; поэтому, кроме евангелия, они от всего полностью свободны и не подвластны магистратам, обычаям и законам страны как духовным, так и светским. Хотя Лютер утверждает, что терпеливо сносить власть папы, князей и других правителей, называемых им тиранами, добродетельно, он все же считает верующих настолько свободными, что повиноваться властям им нужно ровно в такой же мере, в какой вообще следует сносить всякую несправедливость»<sup>25</sup>.

Очевидно, что Мор разошелся с Лютером не только из-за вопросов вероучения, он явно испугался социальных последствий Реформации и народных движений. В том же памфлете Мор продолжает: «Они стремятся перевернуть мир вверх дном», прикрываясь как щитом евангельской свободой. Простой народ радовался, когда он слышал нападки на духовенство и князей и вообще на всякую власть в городах и общинах. Наконец, дело дошло до того, что движение перешло к открытым насильственным действиям». Восставших крестьян Мор называет «толпой безбожных еретиков». «Лютеровские крестьяне, — заключает он, — вскоре настолько осмелели, что поднялись против своих светских государей». Те спаслись, за одно лето уничтожив 70 тысяч лютеран, «но все это было сделано уже после того, как те успели причинить много зла»<sup>26</sup>.

Не правда ли, если бы на этом памфлете не значилось имя Мора, трудно было бы предположить, что он принадлежит перу автора «Утопии», настолько он откровенно враждебен народным движениям, которые угрожают гражданскому порядку и служат помехой на пути к действительным «улучшениям». В этом отразилось столь характерное для ренессансного гуманизма глубокое недоверие к историческому сознанию масс, к степени их политической зрелости.

Отчетливо обнаруживавшаяся двойственность гуманизма в его отношении к низам не могла не проявиться и в творчестве Шекспира. Специфика этой двойственности может быть выявлена лишь при попытке ответить на основной вопрос: в какой роли выступает простой народ в хрониках Шекспира — «фона» или деятельного фактора истории, «свидетеля» соперничества между знатью и королевской властью или участника более глубокого движения, в котором отражен конфликт между угнетенными низами и господствующими верхами?

Перед нами один из наиболее интересных вопросов современного шекспироведения. Со времени Георга Брандеса существует традиция, подчеркивающая резко отрицательное отношение Шекспира к народным низам, причем как черту личную, биографическую: тонкая нервная организация художника «не выносила плебейскую атмосферу». Презрительные выражения, опущенные в адрес простонародья Кориоланом, или саркастическое изображение восстания Кэда и т. п. истолковываются как свидетельства «личного недружелюбия» драматурга к толпе, его стремления «облагородиться», утвердить свое достоинство «джентльмена», возвыситься на социальной лестнице и т. п. Выше уже подчеркивалось, насколько неправомерно приписывать Шекспиру те или иные суждения героев его драм. Максимальное, что может попытаться в данном случае сделать современный исследователь, это выяснить, в какой мере изображение народных низов в драмах Шекспира совпадает или отклоняется (и в какую сторону) от литературного стереотипа тюдоровской эпохи. Тюдоровская эпоха вообще, а елизаветинская в особенности была чрезвычайно чувствительной («комплектарной») к образу мыслей и намерениям народных низов. Общественным верхам всюду мерещились искры народных мятежей, грозящих опрокинуть «устоявшийся порядок», в каждом пуританине подозревали «скрытого анабаптиста», в каждом уличном проповеднике — нового Джона Болла. Исторические имена — Уота Тайлера, Джека

Строу, Джека Кэда, уже давно ставшие нарицательными в тюдоровской «охранительной» пропаганде, превратились в клеймо, к которому то и дело прибегали для запугивания обывателя и натравливания имущих на «возмутителей спокойствия».

Приведем лишь одну иллюстрацию: сценический герой елизаветинского театра — Джек Строу, исторический прототип которого был одним из предводителей Крестьянского восстания в Англии 1381 г. Его «исповедь» содержала признание в «самом „страшном“ — стремлении восставших установить в стране и общность имущества» и завершилась наивным воспроизводством тюдоровского стереотипа — заклинанием: «Пусть никогда не забудутся наши изменнические имена. Страшная тропа, на которую мы ступили, богом проклята».

Раскрытие той же темы в драмах Шекспира намного сложнее. Традиционно христианское возвышение «меньшого брата», его морального превосходства, его близости к источнику истины переплетается в них с гуманистическим недоверием к толпе, неспособной к самостоятельному историческому творчеству. Эта двойственность в изображении места и функции низов в историческом движении народа нашла в творчестве Шекспира многоплановое воплощение. Прежде всего она сказалась в противопоставлении народа как объекта истории и народа как субъекта ее, народа рассуждающего и народа действующего, но, быть может, нагляднее всего — в противопоставлении морального и духовного облика простолюдина как обособленного индивида и того же простолюдина, когда он выступает в сообществе себе подобных, т. е. толпы.

При этом нужно иметь в виду, что двойственность сводилась к двум планам: субъективному (осознанному) и объективному (неосознанному).

Двойственность первого рода лежит на поверхности. С одной стороны, в хрониках легко найти реплики, в которых отразился господствующий стереотип, т. е. пренебрежительное отношение к простонародью, массе. Она невежественна, вспыльчива, легковерна, неустойчива, стремится к разрушительным действиям.

...Даже страшный многоглавый зверь —  
Изменчивая, бурная толпа...  
*«Генрих IV», ч. II, пролог*

«От злобной черни можно ждать услуги — что растерзает нас подобно псам» («Ричард II», II, 2). Такого рода клише почти всегда вложены в уста представителей власти имущих: королей, знати, магистратов. Подобные суждения о простонародье были столь распространены в этой среде, что, воспроизводя их, Шекспир лишь запечатлел одну из характеристик социальной этики верхов.

С другой стороны, если судить по тем репликам, которые Шекспир вкладывает в уста простолюдинов, то трудно удержаться от заключения, что в народе он видит самого пронизательного мудрого и неподкупного судью в делах государственных<sup>27</sup>.

Вспомним, что наиболее глубокие причины низложения Ричарда II Шекспир излагает устами простого садовника:

Кто не навел в саду своем порядка,  
Тот сам теперь увянуть обречен.  
Он дал приют под царственной листвою  
Прожорливым и вредным сорнякам,  
Считая, что они — его опора...  
Как жаль, что не хранил он, не лелеял,  
Свою страну, как мы лелеем сад!  
*Там же, III, 4*

Более того, именно садовнику Шекспир «поручил» изложить программу гармонического государства: Тебе же надлежит, как палачу, Отсечь чрезмерно длинные

побеги, Которые так вознеслись надменно: Пусть в царстве нашем будут все равны,— Я ж сорняки выпалывать начну, Которые сосут из почвы соки И заглушают добрые цветы.

Чтоб не смогли плодовые деревья  
Погибнуть от переполнения соком,  
Весной мы надрезаем им кору.  
Когда б с вельможами так поступал он,  
Росли б они на пользу государству,  
А он вкушал бы верности плоды.  
Мы обстригаем лишние побеги,  
Чтоб дать простор ветвям плодоносящим.

*Там же*

Примерами политической проницательности и государственной мудрости народа изобилуют и другие хроники. Напомним только, что ренессансную концепцию моральной ответственности короля перед подданными Шекспир вложил в уста простого воина, «беседовавшего» с Генрихом V в канун битвы при Азинкуре.

Разумеется, более чем наивно видеть в Шекспире «народолюбца» или проповедника сострадания к «меньшому брату», но было бы и непростительной близорукостью не замечать, что Шекспир, как великий реалист, усматривал в народе (а не в его властителях) источник высших моральных и духовных ценностей, в том числе и политической мудрости. Таков «осознанный» план хроник. Обратимся теперь к плану «неосознанному», т. е. присутствующему в тексте не как явно сформулированная позиция, а неявно (косвенно), за сообщенным фактом, оброненным замечанием по другому поводу и т. п. Но сначала коснемся того, почему вопрос об исторической роли народа мы отнесли именно к этому плану. Прежде всего потому, что для современной Шекспиру исторической мысли — и тем самым для него — этого вопроса еще не существовало. Народ и история были понятиями несовместимыми, взаимоисключающими. Народ как субъект к истории отношения не имел, точно так же как история проносилась где-то высоко над народом. И это нетрудно объяснить. Историческая традиция, восходившая к средним векам, из всех сфер социально-исторического процесса держала в поле зрения только сравнительно узкую полоску его, именуемую ныне политической историей. Это была история династий, войн (внешних и внутренних), фактов законодательства, управления, суда и т. п. Естественно, что на форуме этой истории народ отсутствовал. В ней речь шла почти исключительно о прослойке правителей, а не о массе управляемых. Следовательно, хроники должны были лишь предполагать существование народа, платящего налоги, поставляющего ополченцев для войн, жалующегося, покорного или мятежного,— и все это происходило где-то за исторической сценой или в незримой глубине ее. Таков стереотип эпохи. Однако Шекспир, сам едва ли сознавая это, нарушил конвенцию и, по сути, поставил вопрос о роли народа в судьбах государства, в истории. Наиболее отчетливо это выражено в «Кориолане». Кориолан, возведенный сенатом в сан консула, нуждался в публично выраженном одобрении народа.

М е н е л а й.  
Обратись теперь к народу с речью, как велит обычай  
К о р и о л а н.  
Позвольте мне его не соблюсти.  
Не в силах я стоять перед толпою...  
Молить ее отдать мне голоса.  
С и ц и н и й.  
Избранье без народа — незаконно,  
А он не даст обычай нарушать.  
*«Кориолан», II, 2*

Но Древний Рим того времени — республика, а в Англии наследственная монархия. «Голос» народа в государственных делах Рима, конечно, не может служить критерием для оценки положения вещей в Англии. Наиболее характерна в этом смысле беседа горожан на лондонской улице в дни, когда распространилась весть о смерти короля Эдуарда IV.

Первый горожанин.  
 Сосед, день добрый! Вы куда спешите?  
 Второй горожанин.  
 Скажу вам правду, я себя не помню. Слыхали вести?  
 Первый горожанин.  
 Да, король (Эдуард IV.— М. Б.) наш умер.  
 Второй горожанин.  
 Плохие вести; уж добра не ждите.  
 Боюсь, вся наша жизнь пойдет тут прахом.  
 .....  
 Третий горожанин.  
 Тревожное нам время предстоит.  
 .....  
 Второй горожанин.  
 Нет, правда, все сердца дрожат от страха.  
 Ты, с кем ни говори,— глядит он грустно,  
 И полон ужаса печальный взгляд.  
 Третий горожанин.  
 Пред бедствием всегда бывает так!..  
*«Ричард III», II, 3*

Казалось бы, о какой роли народа в истории можно говорить, будучи свидетелем данной беседы? Не значит ли это, что можно согласиться с мнением, будто народ у Шекспира не представлял самостоятельной, а тем более решающей, политической силы, с которой должны были считаться власть имущие? Отнюдь нет. Из истории, воссозданной в хрониках, следует вывод иного рода: народ не только свидетель событий, даже когда он не проявляет свою волю в самостоятельных действиях, его отношение к событиям (выраженное как «настроение», ропот, недовольство и т. п.) — фактор, определяющий их течение и исход. Ричард Глостер, замысливший овладеть короной, хорошо учитывал это обстоятельство. Поэтому он счел нужным призвать лорда-мэра Лондона для объяснения «причин» столь поспешной (без суда и следствия) казни Гастингса; поэтому и было поручено проповеднику Шоу публично отрицать законность брака Эдуарда IV с Елизаветой Грей и, следовательно, законность титула его наследников; поэтому Бекингом и отправился в ратушу столицы, чтобы подготовить горожан к предстоящей коронации Ричарда Глостера. В конечном итоге отвращение народа к узурпатору и тирану и предредило его скорое падение. Желал Шекспир или нет, он увидел в народе силу, которая только своей «эмоциональной реакцией» на происходящее поворачивает ход политических событий. Хотя роль масс сводится, как правило, к одобрению или порицанию тех или иных поступков правителей и происходящих событий, с ними явно приходится считаться.

Глостер.  
 Ну как? Что горожане говорят?  
 Бекингом.  
 Да что!.. Безмолвствуют, не говорят ни слова.  
 Глостер.  
 Сказал, что дети Эдварда ублюдки?  
 Бекингом.  
 Ну да. Сказал...

О похоти сказал и о насильях  
 .....  
 Над горожанами, о казнях страшных  
 За пустяки; о том, что он ублюдок,  
 Что не похож он вовсе на отца;  
 Потом о вашем сходстве говорил я,—  
 ...Я ничего  
 Не упустил, что было б вам полезно.  
 Когда же кончил речь, я предложил  
 Всем...  
 Кричать: «Да здравствует король наш Ричард!»  
 Г л о с т е р.  
 Ну, а они кричали?  
 Б е к и н г е м.  
 Помилуй бог, ни слова не сказали,  
 Как будто камни или истуканы...

Роль «народа», «одобряющего» замыслы Ричарда, выполнили «молодцы» Бекингема, стоявшие в ратуше «поодаль».

Вверх шапки кинули...  
 И жидко крикнули: «Король наш Ричард!»  
*Там же, III, 7*

Это безмолвие народа в момент «избрания» разве не предвещает скорого падения узурпатора?

Еще более убедительно решающая роль народа в судьбе венценосцев изображена в драме «Ричард II». Ликование лондонцев при встрече Болингброка и нескрываемое презрение к Ричарду предрешили в конечном счете согласие Ричарда на коронацию Болингброка.. Вот слова Генриха IV:

Похитил я приветливость у неба,  
 Облекся я смирением таким,  
 Что стали все сердца ко мне стремиться,  
 Меня встречали дружным криком...  
*«Генрих IV», ч. I, III, 2*

А вот случай, когда непосредственное выступление народа круто изменило расстановку сил при дворе Генриха VI.

С о л с б е р и.  
 Властитель, просит вам сказать народ,  
 Что если Сеффолка не обезглавят  
 Иль не изгонят из страны родной,—  
 Они его отсюда вырвут силой...  
*«Генрих VI», ч. II, III, 2*

И хотя лорд Солсбери только передал королю требования толпившегося у ворот народа, хотя он явился уполномоченным «от медников», а голос народа, как значится в авторской ремарке, раздавался за сценой, этот голос был достаточно грозным, чтобы «святой» король тотчас уступил и Сеффолк был изгнан из пределов Англии. Разумеется, от изображения подобных эпизодов «вторжения народа» в ход истории до подлинного осознания его исторической роли еще очень далеко, однако несомненно, что сама эта проблема, пусть неосознанно, для Шекспира уже существовала. И это

объясняет, почему действия народа становятся в хрониках важнейшим, типическим обстоятельством, определяющим развитие истории в ее решающие моменты.

В заключение остановимся еще на одном вопросе: как трактуются Шекспиром народные движения?

Как мы могли убедиться, Шекспир лишь продолжал ренессансную традицию, усматривавшую в народных движениях источник общественного хаоса и помеху на пути к «улучшениям», ожидаемым от просвещенных магистратов, философа-монарха. С данной точки зрения не делалось различия между феодальными смутами и народными движениями. И в том и в другом случае вместо установленного порядка, мира и гармонии утверждался якобы волчий закон сильного.

В «Речи» Томаса Мора, обращенной к восставшим подмастерьям, обрушившим свой гнев на живших в городе чужеземцев, «речи», как предполагают, сочиненной Шекспиром (в драме «Сэр Томас Мор»), мы читаем:

Допустим, что они изгнаны и что этот ваш мятеж  
 Низвел на нет все чины и степени в стране,  
 Представьте, что вы видите жалких чужестранцев,  
 С младенцами на руках и жалким скарбом,  
 Бредущих к пристаням в поисках кораблей.  
 И что вы восседаете на троне своих желаний,  
 Что в шуме буйном мятежа умолкли власти  
 И вы невозбранны в своем самомненье.  
 Что же приобрели вы? Я скажу вам: вы преподали урок,  
 Как торжествует наглость и грубая сила,  
 Как разрушать порядок. Но, поверьте, в подобных условиях  
 Никто из вас не достигнет почтенной старости.  
 Ибо другие головорезы, по вашему примеру и прихоти своей,  
 По праву голой силы поглотят вас, и люди, подобно хищным  
 Акулам, будут пожирать один другого <sup>28</sup>.

Поразительно, до чего изображение последствий мятежей в «речи» Мора созвучно заключению речи Улисса:

...Если б только сила  
 Давала право власти; грубый сын  
 Отца убил бы, не стыдясь нимало,  
 Понятия вины и правоты...  
 .....  
 Исчезли бы и потеряли имя,  
 И все свелось бы только к грубой силе,  
 А сила — к прихоти, а прихоть — к волчьей,  
 Звериной алчности, что пожирает...  
 .....  
 Самое себя.

*«Троил и Крессида», I, 8*

Но поскольку в этом откровенно отрицательном, даже враждебном отношении Шекспира к народным восстаниям и мятежам нет ничего специфического, индивидуально присущего только ему, его мировидению, то вряд ли в этом заключен ответ на интересующий нас вопрос. Наше внимание должно быть направлено на те черты шекспировской трактовки проблемы, которых нет или которые, во всяком случае, крайне редки в литературе этой эпохи и поэтому составляют особенность только его пьес. Поиски в данном направлении приводят к наблюдениям и идеям, которые отражают чаяния низов,— к системе воззрений, во всех отношениях противоположной господствующему стереотипу.

В самом деле, еще в одной из первых хроник — в «Генрихе VI» (ч. II) — мы слышим о жалобах народа на огораживания общинных земель, предпринимаемые лордами. Так, герцог Сеффолк обращается к явившемуся к королю просителю: «Ты о чем? Что там? (Читает.) На герцога Сеффолка, огородившего мелфордские выгоны. Что это значит, господин плут?». Второй проситель: «Ах, сэръ, я ведь только бедный проситель от всего нашего города» («Генрих VI», ч. II, III, 3). В сцене на кладбище, глядя на выброшенный могильщиком из ямы череп, Гамлет замечает: «Вот еще один. Вообразим, что это череп законника... Гм! В свое время это мог быть крупный скупщик земель...» («Гамлет», V, 1). Эта тема в творчестве Шекспира приобретает в дальнейшем все более громкое звучание.

Трагического пафоса она достигает в «Короле Лире».

Л и р.  
Бездомные, нагие горемыки,  
Где вы сейчас? Чем отразите вы  
Удары этой лютой непогоды —  
В лохмотьях, с непокрытой головой  
И тощим брюхом?..

*«Король Лир», III, 1*

Не менее красноречиво представлено и положение городской бедноты в драме «Кориолан». «Пекутся о нас! — иронически замечает горожанин.— Нечего сказать! Да они (т. е. отцы города.— М. Б.) никогда о нас не заботились, у них амбары от хлеба ломятся, а они морят нас голодом. Да издадут законы против ростовщичества, которые идут на пользу ростовщикам, для бедняков, что ни день, издадут новые постановления, чтобы покрепче скрутить и прижать их» (I, 1).

Созвучна «Утопии» и критика Шекспиром наступившего всевластия золотого тельца.

Тут золота достаточно вполне,  
Чтоб черное успешно сделать белым,  
Уродство — красотою, зло — добром.  
Трусливого — отважным....

Оно

Подушку вытащит из-под голов  
У тех, кто умирает. О, я знаю,  
Что этот желтый раб начнет немедля  
И связывать и расторгать обеты...  
Заставит обожать, возвысит вора,  
Ему даст титул и почет всеобщий...  
Ты — шлюха человечества...

*«Тимон Афинский», IV, 3*

Золото — причина вражды и войн народов, всех бед, оно превращает общество в скопище льстецов, в котором «перед каждой из высших ступеней нижайшая стоит благоговейно». Оно уродует природу человека: найти дружбу можно только во сне, доброта оказывается худшим из зол, «все вкривь идет — прямого ничего» (там же).

Воззрения Шекспира на причины и цели народных движений с течением времени претерпели значительный сдвиг: от иронии и открытой насмешки — до глубокого проникновения в суть народных бедствий. Так, в изображении Шекспиром восстания Джека Кэда в хронике «Генрих VI» (ч. II) явно преобладает ирония: настолько он в ту пору еще находился под влиянием идеологического стереотипа.

Но даже из этой ранней пьесы можно узнать о целях восстания Кэда куда больше, чем из исторических и драматических источников, которыми пользовался драматург при создании хроники. Дело в том, что многие из современных ему идей и реминисценций Шекспир вложил в уста восставших в середине XV в. Так, они «заявляют» о своем желании «изменить все порядки» в стране, что означало прежде всего ликвидацию феодальной собственности на землю («все в королевстве будет общим, и мой конь будет пастись в Чипсайде»), Помимо этого, они хотят установления низких цен на продовольствие и уничтожения сословного неравенства («чтоб все ладили между собой, как братья»), отмены старых и издания новых (т. е. справедливых) законов и т. д. Но что означают эти повторяющиеся обещания Кэда: «Отныне все будет общим»? Отзвук плебейских требований, раздавшихся впервые в Англии в дни восстания Уота Тайлера и повторявшихся затем в каждом крупном народном движении (включая восстание в восточных графствах Англии в 1549 г.), или своеобразное «резюме» «Утопии» Томаса Мора? Возможно, и то, и другое, и даже третье — отражение плебейских устремлений, проявлявшихся на рубеже XVI и XVII вв.

Однако в пьесах периода зрелости драматурга и наступившего затем упадка мы, к своему удивлению, сталкиваемся в той или иной форме с теми же идеями<sup>29</sup>. С одной стороны, в этом факте как будто нет ничего удивительного. Слишком велик был в Англии слой людей, которые являлись носителями социально-уравнительных (не говоря уже о сословно-уравнительных) идей, слишком часто эти идеи связывались — в среде имущих — с народными движениями (одно из них вспыхнуло в центральных графствах Англии в 1607 г.). Естественно, что Шекспир не был бы великим реалистом, если бы в той или иной форме не отразил эти устремления. С другой стороны, мы не можем не задуматься над вопросом, в какой мере неизменным оставалось его личное отношение к страданиям и чаяниям низов. В «Гамлете» могильщики — явные враги сословных различий. В ответ на замечания одного из них о том, что звание землекопа и дворянина «от Адама», второй не без иронии спрашивает: «Разве он был дворянин?» — и первый могильщик говорит: «В писании сказано: „Адам копал землю“». Смысл этих речей хорошо уловил Гамлет: «С этим народом надо держать ухо остро... Клянусь богом, Гораций, за последние три года я заметил: все так осмелели, что простой народ наступает дворянам на ноги» (V, 1). Вообще вся эта сцена несет на себе печать реминисценции знаменитого вопроса Джона Болла, проповедовавшего перед восставшими крестьянами в 1381 г.: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?». Здесь все примечательно. И ссылка на писание, и восхождение к «первому человеку» — Адаму, и установление его «сословной принадлежности», равной сословию землекопа,— все это характерно для идейного багажа народных низов тех дней и способа, каким они аргументировали свои сословно-уравнительные требования («Гамлет», V, 1).

Тенденция к имущественному уравниванию явно обнаруживается в реплике одного из восставших горожан в «Кориолане»: «...Все добро — у патрициев. Нас могло бы спасти одно то, что богачам уже в горло не лезет. Если бы они отдали нам объедки со своего стола... мы сказали бы, что нам помогли по-человечески...» («Кориолан», I, 1).

Однако то, что говорили представители низов, не имело моральной силы в глазах уважаемой публики. Поэтому обратимся к Лиру. Король, пусть безвластный и нищий, но именно потому ставший символом высшей нравственности,— разве он не заявил:

Богач надменный! Стань на место бедных,  
Почувствуй то, что чувствуют они,  
И дай им часть от своего избытка  
В знак высшей справедливости небес.

*«Король Лир», III, 4*



Наконец, вспомним кредо Тимона Афинского: кто он — олицетворение феодального мотовства или выразитель евангельской притчи «дарение — благо» — в данном случае безразлично, важно лишь, какой смысл «его слова» приобретали в Англии тех дней:

...И что мы можем назвать своей полной собственностью, если не имущество наших друзей? О, какое драгоценное утешение заключается в мысли, что такое множество людей может, подобно братьям, располагать состоянием друг друга!

*«Тимон Афинский», I, 2*

Итак, уравнивательные идеи, которые в первых произведениях Шекспира проповедовали представители низов, в период зрелости драматурга исходят из уст «прозревших» представителей верхов. Правда, в последнем случае перед нами скорее мотивы евангельской благотворительности, нежели свидетельство осознания несправедливости существующего строя. Но вот другой пример: мысль об идеальном устройстве общества, высказанная представителем «правителей», оказавшимся (в результате бури) на пустынном острове. Гонзало («старый честный советник короля неаполитанского») говорит:

И королем бы здесь я стал, то, что бы  
Устроил я?... Устроил бы я в этом государстве  
Иначе все, чем принято у нас.  
Я отменил бы всякую торговлю,  
Чиновников, судей я упразднил бы...  
Я б уничтожил бедность и богатство,  
Здесь не было бы ни рабов, ни слуг...  
Ни прав наследственных, ни договоров,  
Ни огораживания земель.

*«Буря», II, 1*

Перед нами противопоставление справедливого строя («возможного» на «неведомом острове») подразумеваемому несправедливому строю (на родине). Упоминание об огораживаниях как об одном из наиболее вопиющих воплощений этой несправедливости весьма характерно. И хотя в мечтаниях Гонзало нетрудно разглядеть мотивы, почерпнутые из описаний быта «дикарей» в новооткрытых землях, тем не менее как они созвучны «Утопии» Мора!

Наконец, вспомним восклицание Имогены в пьесе «Цимбелин» (III, 6):

О, если бы на земле существовали  
Такие короли, под чьим господством  
Исчезли б рабство, голод и нужда,  
Дворцы такие, где одна лишь совесть  
Мерилом бы величия служила.

Разумеется, контекст этих идей от пьесы к пьесе меняется, меняются и «эпоха», к которой они относятся, и «география» их распространения. Не сомневаемся, анализ этих идей в контексте надлежащих драм выявил бы не только разнородность обстановки, которой они были навеяны, но и различия их по существу. Однако сама возможность «составить» цепочку социально-утопических, уравнивательных идей (первое упоминание которых мы находим в «Генрихе VI», а последнее — в «Цимбелине») приобретает важное значение для понимания специфики шекспировского историзма.

Итак, народные низы в хрониках Шекспира, даже когда они лишь словесно выражают свое отношение к происходящему на вершине власти, — великая историческая сила, в конечном счете — сила, решающая судьбы противоборствующих «партий».

Постоянно исходящая от народа угроза активного вмешательства в ход исторических событий заставляет правителей действовать с оглядкой на него. Так или иначе — без «голоса народа» не происходит ни одно крупное событие в политической жизни страны. Но в то же время народные низы — сила стихийная; оказавшись на политической сцене, они тотчас же обнаруживают политическую незрелость, наивность. Характерно, что Шекспир в такой же мере отказывает восставшим низам в разумности действий (усматривая в последних лишь силу, разрушительную для государственного начала и, следовательно, с его точки зрения, столь же пагубную для блага самих восставших), в какой наделяет их высшей мудростью, когда они выступают в роли посторонних наблюдателей, судей политики власть имущих. В то же время сами низы отнюдь не склонны прислушиваться к устрашающим назиданиям «старшего брата» по поводу пагубности их действий: когда они оказываются на грани, за которой дальнейшее ухудшение уже невозможно, на грани отчаяния — они восстают. По этой причине всякое активное действие с их стороны может только вселять надежду на улучшение. Отсюда неустранимость восставшего народа. И тем не менее не подлежит сомнению, что гуманистический идеал «гармонии в государстве», отразившийся в творениях Шекспира, основывался на сохранении и существующей монархии и унаследованного сословно-иерархического строя, при том, однако, непременном условии, чтобы этот строй базировался на принципе «взаимной полезности» и «добрососедства». В противном случае он теряет всякое разумное основание.

## **Глава VI ХРОНИКИ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ**

Драма историй — неоценимая школа. Среди вещей, о которых человеку ради его же собственного блага следовало бы знать как можно больше, важное место занимает историческое прошлое народов. История! Как много мы хотели бы от нее узнать и, увы, как мало подчас она нам сообщает, как мало в состоянии сообщить!

Провалы исторической памяти огромны. Но что еще хуже это внедренные в память, сознательно или неосознанно, мистификации и легенды, занявшие место исторической истины. Мозаика из фрагментов подлинной истории и искусного вымысла, фиксация «преданий» в качестве «былого» и «достоверного» — как густо ими усеяны летописи отдаленных исторических эпох! Требуется огромный труд, чтобы, подобно расчищенной фреске на стене храма, открылся миру чистый лик исторической правды.

Известно, что одной из наиболее искусных легенд, включаемых до недавнего времени в «достоверную» историю Англии, являлась легенда о короле Ричарде III, правление которого совпало с завершающим этапом гражданской смуты — войны Роз. Портрет Ричарда, пути, которыми он шел к трону, его политика — все эти сведения, почерпнутые из хроник и перенесенные на страницы бесчисленных исторических повествований, рассматривались как нечто твердо и окончательно «установленное». И вдруг все это сооружение зашаталось...

### **Ричард III сценический**

Если так случилось, что Ричард, герцог Глостер, а в последствии король Англии, являлся на протяжении столетий олицетворением самой демонической личности в Англии, то немаловажную роль в этом сыграл, несомненно, «Ричард III» Шекспира. Десятки поколений разноязычных зрителей (и, прежде всего, английских) усваивали шекспировскую трактовку этого характера, были потрясены лицемерием, коварством и цинизмом Ричарда-актера, его неслыханной жестокостью и дьявольским хладнокровием, его пренебрежением законами божьими и человеческими. Это историческое «образование» зрителей и читателей продолжается без малого четыре

столетия. Неудивительно поэтому, что, если даже человек не очень сведущ в истории вообще и в английской истории в частности, он, тем не менее, о Ричарде III знает, и, знает, разумеется, по Шекспиру. Какие же исторические сведения преподносит зрителю шекспировская драма? Впервые мы сталкиваемся с Ричардом еще в «Генрихе VI». Королева Маргарита, жена Генриха VI обращается к Ричарду со словами:

А ты не вышел ни в отца, ни в мать,  
Но безобразный, мерзостный урод  
Судьбой отмечен, чтоб тебя бежали,  
Как ядовитых ящериц или жаб.

*«Генрих VI», ч. III, 2*

Но Маргарита — враг, она ненавидит весь клан Йорков, и, кажется, больше всего совсем еще юного в ту пору Ричарда Глостера. Поэтому любопытно узнать, что думает о своем облике сам Ричард. И тут нас подстерегает неожиданность: в суждениях о себе самом он столь же беспощаден, как и его враги.

Я в чреве матери любовью проклят.  
Чтоб мне не знать её законов нежных,  
Она природу подкупила взяткой  
И та свела, как прут сухой, мне руку  
И на спину мне взгромозила гору,  
Где, надо мной, глумясь, сидит уродство,  
И ноги сделала длины неравной,  
Всем членам придала несоразмерность.  
Стал я, как хаос

*«Ричард III», I, 1*

Таков в изображении Шекспира Ричард: ниже среднего роста, горбатый, кривобокий, правое плечо намного выше левого, хромым. Но могла ли природа быть более милосердной к внешности этого человека, если она должна была вселить в него еще более отвратительную душу? По крайней мере, для зрителей шекспировского театра в этом заключалась гармония: моральное и физическое уродство должны были обязательно сочетаться, одно предполагало другое. Исчадием ада во плоти человеческой предстает перед нами Ричард сценический. Его почти с колыбели обуяла одна страсть — жажда высшей власти. «Отец, подумай,— говорит еще дитя Ричард,— как сладко на челе носить корону» (там же, I, 1) . Эта всепоглощающая страсть на протяжении долгих лет определяла каждый шаг его, каждое слово. В монологе, венчающем вторую сцену третьего акта «Генриха VI», Ричард говорит:

Но раз иной нет радости мне в мире,  
Как притеснять, повелевать, царить  
Над теми, кто красивей меня,—  
Пусть о венце мечта мне будет небом.  
Всю жизнь мне будет мир казаться адом,  
Пока над этим туловищем гадким  
Не увенчает голову корона.

Столь же откровенно излагает Ричард свои затаенные помыслы и в монологе, которым открывается драма «Ричард III»:

Меня природа лживая согнула  
И обделила красотой и ростом.  
Уродлив, исковеркан я до срока...

Такой убогий и хромой, что псы,  
 Когда пред ними ковыляю, лают.  
 Чем в этот мирный и тщедушный век  
 Мне наслаждаться?..

Объяснение этой неутолимой жажды высшей власти для современников Шекспира звучало весьма убедительно. Во-первых, «моральное право» Ричарда принадлежность к королевскому роду, высшей феодальной знати воспринималось как нечто данное. Во-вторых, власть казалась не бременем, а родом удовольствия. Наконец, политическая история Англии — и не только Англии — была настолько полна феодальными усобицами, что никого уже не удивлял захват короны удачливым узурпатором. Но если обладание короной превращается в смысл всей жизни, то разве стоит задумываться над выбором средств, к которым приходится прибегать на пути к власти? И Ричард становится «сверхчеловеком», т. е. полностью свободным от «тщедушных» предписаний морали «простых смертных»:

Решился стать я подлецом и проклял  
 Ленивые забавы мирных дней.

*Там же*

Стоят меж мной и троном много жизней.

.....  
 Так мучусь я, чтоб захватить корону.

И я от этих лютых мук избавлюсь,

Расчистив путь кровавым топором.

*«Генрих VI», ч. III, III, 2*

Если не считать правившего в ту пору короля — старшего отпрыска дома Йорков (и следовательно, старшего брата Ричарда) — Эдуарда IV, то на пути Ричарда к трону стояли прежде всего низложенный и находившийся в заточении в Тауэре король из дома Ланкастеров Генрих VI (слабовольный и слабоумный, годившийся только в «святые») и его жена, француженка Маргарита, энергии и отваге которой мог позавидовать любой полководец. Затем сыновья Эдуарда IV, появившиеся на свет к концу беспутной и скоротечной жизни «красавца-короля», и средний брат Ричарда — герцог Кларенс, у которого вскоре также родился сын и наследник. Если к этому списку прибавить внебрачных детей Эдуарда IV которые, невзирая на действующее право, также могли стать в решающий момент опасными для Ричарда, то понятно, какая, трудная борьба предстояла ему, какие нужны были ловкость, изворотливость, ум, воля и целеустремленность, чтобы, отправляя соперников одного за другим в могилу, уберечь собственную голову для короны. В этом смысл обещаний Ричарда превзойти в жестокости сирену, а в коварстве Макиавелли. Не правда ли, как «трогательно» в устах Ричарда сравнение самого себя с Макиавелли! В нем, естественно, отразились суждения самого Шекспира (скорее, по-видимому, «наслышанного», чем начитанного) о характере и наставлениях великого итальянца государю.

Заметим, что вопрос о влиянии этой популярной версии «макиавеллизма» на формирование сценического образа Ричарда III представляется не столь существенным, как иногда кажется<sup>1</sup>. Исторические судьбы творения родоначальника политической науки, каким является Макиавелли, примечательны: преподанные им уроки политической морали были восприняты и усвоены современниками (и Шекспир не был в этом смысле исключением) в «превращенном» виде, т. е. как уроки повседневной, житейской, «общечеловеческой морали». Поэтому, если уж говорить о влиянии «макиавеллизма» на формирование сценического образа Ричарда III то лишь в определенном смысле, как о «вторичном» его «превращении», т. е. о превращении «простого», житейского

«макиавеллизма», свойств низменной природы в орудие политики. А этому, как известно, Макиавелли не учил.

Сценический Ричард обладает всеми качествами популярного «макьявеля»: он не демагог, а человек демонической энергии, «дьявольский мясник». Ричард участвует в убийстве принца Эдуарда Ланкастера. Не успев еще вложить меч в ножны, он скачет в Лондон. «В Тауэр! В Тауэр!» — раздается клич на сцене. Достигнув цитадели, он врывается к заключенному там коронованному узнику Генриху IV и собственноручно закалывает его. Затем наступает черед братьев Ричарда. «Нет братьев у меня — не схож я с ними», — признается Ричард (там же, V, 6).

И пусть любовь, что бороды седые  
Зовут святой, живет в сердцах людей,  
Похожих друг на друга, — не во мне.  
Один я...

*Там же*

Итак, братская любовь, выдуманная «седыми бородами», выброшена на свалку.

Братья будут убраны так же хладнокровно, как враги — отец и сын Ланкастеры. Впрочем, короля Эдуарда IV Ричард предоставил судьбе. Обжорство и чрезмерно «легкий нрав» и так уже зримо сокращали срок его пребывания на троне.

Камнем преткновения становился герцог Кларенс. И Ричард решает его убрать, но... по воле самого короля.

... Кларенс, берегись: ты застишь  
Мне свет,—  
Я черный день тебе готовлю.  
Я брату нашепчу таких пророчеств,  
Что станет Эдуард за жизнь страшиться;  
Чтоб страх унять, твоею смертью стану.

*Там же*

Семена интриги падают на благодатную почву: ведь королева (жена Эдуарда IV) и многочисленные ее родственники открыто ненавидят Кларенса — вероломного, несдержанного на язык, не выносившего весь клан королевы. Когда же Кларенс сначала попадает в Тауэр а затем погибает, Ричард разыгрывает — и как искусно! — роль жалостливого ходатая и преданного родственника осиротевшей семьи. В «Генрихе VI» уже звучит угроза потомству короля. Эдуард IV обращается к сыну:

Ведь для тебя, мой Нед, отец и дяди  
В броне зимою проводили ночи;  
Пешком шагали в летний зной палящий —  
Чтоб ты владел своей короной в мире...

Ричард тихо произносит: «Когда умрешь, я жатву уничтожу». Далее следует ряд молниеносных превращений Ричарда: он то изображает из себя нежнейшего и любящего дядю, то шипит, как змея, готовая смертельно ужалить. В ответ на призыв короля: «Кларенс и Глостер... поцелуйте принца», Глостер с омерзительной слащавостью говорит:

Свою любовь к родившему вас древу  
Я докажу, целуя плод его.

*Там же*

А в сторону с дьявольской усмешкой: «Так целовал учителя Иуда».

Ричард Шекспира воплощает в себе как бы рафинированное зло, пороки власти в период войны Роз, некий сгусток пороков всей системы феодальной монархии в целом.

Суждения о Ричарде современной западной историографии далеки от единодушия. На ее полюсах находятся, с одной стороны, сторонники унаследованной (тюдоровской) традиции, продолжающие считать шекспировский образ Ричарда едва ли не «документальным» и сохраняющим силу «доказательства»<sup>2</sup>, с другой стороны,— историки, желающие как бы вывернуть тюдоровскую традицию наизнанку, т. е. представить Ричарда невинным «белым ангелом», а победителя при Босворте, будущего короля Генриха VII, наделить именно теми чертами, которые традицией приписывались Ричарду<sup>3</sup>. Попытки «реабилитировать» Ричарда III стали предприниматься тотчас же после смерти последней представительницы династии Тюдоров — королевы Елизаветы — и продолжают по сей день. Были найдены некоторые важные источники, неизвестные тюдоровским историографам, либо ими сознательно игнорировавшиеся. Свет, пролитый этими документами, позволил в некоторых случаях полностью отказаться от одних суждений и в значительной мере усомниться в других.

### Ричард III исторический

К сожалению, наука знает о Ричарде III гораздо меньше, чем знает каждый. И это легко объяснить: уж слишком скоротечным оказалось его правление, чтобы оставить сколько-нибудь зримый след в источниках. К тому же Тюдоры и их приспешники немало потрудились над «пересозданием» памяти об этом монархе: им нужно было запечатлеть в ней монстра, это оправдало бы узурпацию ими королевского титула. В итоге достоверных свидетельств о Ричарде III осталось крайне мало. Но был ли все-таки исторический Ричард III тем «черным дьяволом», каким он вот уже четыре столетия предстает на театральных подмостках? Следует ли в интересах исторической правды различать Ричарда сценического и Ричарда исторического? А если следует, то в чем между ними различие?

Ричард Плантагенет, младший отпрыск герцога Йоркского, родился в 1452 г. В 14 лет он появился при дворе Эдуарда IV. Каким же его увидели современники? Ни сохранившийся портрет, ни воспоминания не содержат и намек на те физические уродства, какими его наделил тюдоровский миф: он не горбат, не хром, хотя правое плечо действительно несколько выше левого, лицо его не лишено привлекательности. Ричард был невысокого роста, худощав (особенно в сравнении с богатырски сложенным братом-королем), но отличался физической силой. При дворе графа Уорика он серьезно упражнялся в военном деле. Впоследствии Ричард себя показал не только мужественным воином, но и незаурядным полководцем.

Однако ярче всего его способности раскрылись в сфере управления. Хотя слишком краткий срок пребывания Ричарда на престоле не позволяет вынести окончательное суждение об этом, однако и при жизни Эдуарда IV и в качестве короля Ричард проявил себя администратором столь способным, что мало кого из его предшественников на английском троне можно поставить рядом с ним. Во всяком случае, тактика противопоставления горожан строптивой знати, искусство сделаться популярным среди третьего сословия и лавирования монархии в бурном море противоречивых интересов были ему хорошо известны.

Наконец, каков моральный облик Ричарда?

Этот наиболее деликатный вопрос не может быть решен без соблюдения принципа историзма. Создателям легенды о Ричарде, как и их высокородным патронам, разумеется, и в голову не приходило, что, рассказывая о средствах одно чудовищнее другого, при помощи которых «волевые натуры» завладевали короной, они отображали по сути дела весьма заурядные явления политической жизни тех дней, раскрывали изнанку феодальной монархии, как таковой. Заурядность пути, каким Ричард пришел к английскому престолу,

раскрывается даже при сравнении с такими малоизвестными широкой публике событиями, как низложение и убийство Эдуарда II, низложение и последующее убийство Ричарда II и т. д. Вся вина Ричарда III заключалась — в свете этой заурядной практики — в том, что он слишком недолго пребывал на троне, для того чтобы успеть с помощью придворных историков или хронистов облагодетельствованных монастырей «вести память» потомков в надлежащее русло. Скоротечность власти Ричарда III дала возможность его врагам Тюдорам сделать это в направлении прямо противоположном. Другими словами, по воле судьбы королевский титул не стал для Ричарда тем щитом, за которым обычно скрывалась личность короля, сколь бы омерзительной она ни была. Два вопроса имеют принципиальную важность для выявления хотя бы некоторых черт характера Ричарда III исторического: во-первых, как вел себя Ричард Глостер при жизни Эдуарда IV и в первые дни после получения известия о смерти последнего (т. е. когда созрело решение Ричарда стать королем) и, во-вторых, о чем свидетельствует деятельность Ричарда III?

При жизни Эдуарда IV Ричард вел себя как верноподданный короля, его ближайший друг и помощник. Наиболее трудному испытанию верность Ричарда подверглась в 1470 г., когда граф Уорик, вступивший в сговор с Ланкастерами, поднял мятеж против Эдуарда IV. Известно, что брат Ричарда и короля, герцог Кларенс, в этот момент перешел на сторону мятежников, Ричард же остался до конца верен королю. Вместе с Эдуардом IV он был вынужден бежать на континент и дожидаться там, пока с помощью герцога Бургундского будет снаряжена военная экспедиция с целью отвоевания престола. Вместе с Эдуардом Ричард высадился на английский берег, вместе с ним проделал шестинедельный поход на Лондон. В решающих битвах при Барнете и Тьюксбери, в которых были разгромлены силы Ланкастеров, Ричард сражался с большим мужеством. С этого момента Ричард заслужил безграничное доверие Эдуарда IV, а его девиз «Верность меня связывает» был вполне оправдан. В указанных битвах, как утверждает традиция, нашел свою смерть наследный принц Ланкастеров — Эдуард. Его отец убит в Тауэре. Однако нет доказательств личной причастности Ричарда к смерти первого (вероятнее всего, тот погиб в сражении). Что же касается убийства Генриха VI в Тауэре, Ричард в нем повинен не больше короля.

В последнее десятилетие правления Эдуарда IV Ричард оставался наиболее доверенным лицом короля и вторым — в смысле могущества — человеком в государстве. Ему был передан политический контроль над Северной Англией, очень беспокойной из-за засилья там скрытых сторонников Ланкастеров и беспрерывных вторжений шотландцев. Административный талант помог Ричарду установить порядок, которого давно уже не помнили в этой части страны. Ричард-администратор приобрел здесь столь большую популярность, что из опоры Ланкастеров Север Англии превратился в оплот Йорков. В это время Ричард женился на младшей дочери графа Уорика — леди Анне (на старшей дочери Уорика был женат брат Ричарда — Кларенс), которая незадолго до того овдовела (после гибели принца Эдуарда Ланкастера), для этого ему пришлось преодолеть упорное сопротивление Кларенса, не хотевшего расставаться с половиной владений Уорика, не посчитавшись с недовольством Эдуарда IV. С этих пор Ричард прочно обосновался на Севере и очень редко появлялся при дворе, от которого бесконечные интриги соперничающих клик отталкивали его, поскольку он не желал становиться объектом ненависти со стороны королевы и ее многочисленных родичей.

В 1473 г. у Ричарда родился сын, который еще больше привязал его к северному краю. Когда в 1478 г. Кларенса заточили в Тауэр (через месяц его утопили в бочке с вином), Ричард не только по-прежнему находился вдали от двора, но и пытался, хотя и безуспешно, спасти Кларенса. Ричард обвинял в его смерти родичей королевы Вудвиллов и будто бы даже поклялся им отомстить. Как это ни парадоксально, Ричард вовсе не был мастером интриги. Ему не хватало подозрительности, чтобы стать прозорливым, и беспощадности, чтобы стать неуязвимым. Однажды уверовав в человека, он продолжал

ему верить до конца, вопреки открывшимся фактам. Он вел жизнь провинциального аристократа, разнообразившего свои дни то делами, то охотой, то музыкой (покровительствуя музыкантам, Ричард снискал славу патрона искусств). Но вот в 4483 г. Эдуард IV умер. Последней своей волей он назначил Ричарда лордом-протектором Англии и опекуном наследного принца Эдуарда V, которому едва исполнилось 12 лет (младшему его брату было 9).

Королева и ее родичи Вудвиллы, естественно, были против протекторства Ричарда. Не подчиниться последней воле короля они могли, лишь срочно доставив Эдуарда V в Лондон и короновав его: тогда королева-мать осталась бы регентшей при малолетнем короле, а Вудвиллы — фактическими хозяевами страны.

Ко двору юного короля, находившегося в Ледлоу, тот час было послано известие о смерти Эдуарда IV. Ричард узнал о случившемся на пять дней позже Эдуарда V, причем не от королевы и ее окружения, а от придворного, лорда Гастингса. Ричард ответил двумя письмами. В одном, на имя королевы, он выразил соболезнование в другом, на имя Совета, подтвердил готовность стать протектором. В сопровождении вооруженного эскорта Ричард двинулся на юг, в Лондон. При этом важна одна деталь: он принес присягу юному наследнику Эдуарда IV — Эдуарду V.

Между тем в Лондоне Вудвиллы развили бурную деятельность. Сын королевы от первого брака маркиз Дорсет, комендант Тауэра, захватил монетный двор и немалые сокровища, накопленные покойным королем. Коронация Эдуарда V была назначена на 4 мая. В официальных документах тех дней не упоминалось имя протектора, зато фигурировала мать-королева.

Ричард продвигался на юг не слишком поспешно до тех пор, пока до него не дошли известия о событиях в Лондоне. С этого момента Ричард начал действовать: перехватив по дороге обоз короля, он арестовал дядю короля (с материнской стороны) Ричарда Грея, двух придворных, лорда Риверса и всех отправил под стражу в один из своих северных замков. Известие о случившемся достигло Лондона, и в столице началась паника. После неудачной попытки организовать военное сопротивление Ричарду королева нашла прибежище за стенами Вестминстерского аббатства вместе с дочерьми и младшим сыном, герцогом Йорком. 4 мая Эдуард V въехал в Лондон в сопровождении Ричарда и поселился во дворце Лондонского епископа.

Вскоре восстановился обычный порядок вещей. Совет утвердил должность Ричарда, и начались приготовления к коронации юного короля. Так продолжалось шесть недель. Коронацию наметили на 22 июня, и в ожидании ее, по традиции, короля перевели в Тауэр, который ему уже не суждено было покинуть.

Все круто переменялось 9 июня. В тот день Совет собрался в Вестминстере, однако, что там обсуждалось, осталось неизвестным. Известно только, что 10 июня Ричард обратился к городу Йорку с письмом, в котором содержалось требование срочно прислать ему военное подкрепление против королевы, ее родственников и приближенных, которые намеревались убить его самого и герцога Бекингема. О том, что речь шла о заговоре со стороны клана королевы, свидетельствует другое письмо Ричарда, на имя лорда Невилла, с просьбой о помощи и привлечении арестованных родственников королевы к суду за измену.

Тремя днями позже, 13 июня, состоялось заседание Совета в Тауэре, на котором Ричард обвинил своего старого друга, лорда Гастингса вместе с другими в заговоре в пользу королевы. По требованию Ричарда Гастингса казнили немедленно. Это был критический момент. Ричард взял курс на коронацию самого себя. То ли он убедился в том, что коронация Эдуарда V означает конец его власти, то ли стало очевидным, что слишком влиятельные силы (в том числе и Лондон) не желают иметь малолетнего короля, так как это предвещает неизбежную борьбу клик за власть и, следовательно, возобновление кровавых усобиц, — неизвестно. Ясно только, что все случившееся позднее было лишь реализацией принятого решения.



По настоянию Ричарда, архиепископ Кентерберийский убедил королеву выдать младшего сына герцога Йорка, находившегося вместе с ней в монастырском убежище, чтобы перевести его в Тауэр. 22 июня некий доктор Шоу выступил с публичной проповедью, в которой объявил детей королевы от Эдуарда IV незаконнорожденными на том основании, что до этого брака Эдуард состоял в нерасторгнутом браке с Элеанорой Батлер, дочерью графа Шрюсбери (по некоторым сообщениям, Шоу зашел столь далеко, что признал незаконнорожденным и покойного короля, бросив тем самым тень на репутацию еще здравствовавшей матери Ричарда).

Откровения Шоу основывались на свидетельских показаниях Джона Стилингтона, епископа Батского, который заявил, что совершал церемонию бракосочетания Эдуарда с леди Элеанорой. Так или иначе, покойный Эдуард IV был объявлен двоеженцем, а его дети — лишены прав на престол. Трудно сказать, знал ли Ричард до этого указанную историю, во всяком случае, он вел себя вплоть до 9 июня так, будто ничего не ведал. Теперь эта история понадобилась, и ее предали гласности.

25 июня в Лондоне собралось подобие парламента, где решающий голос принадлежал представителям Лондона. Главным ходатаем по «делу Ричарда» выступил его кузен герцог Бекингем. От имени парламента было составлено обращение к Ричарду с просьбой принять английскую корону. На следующий день депутация во главе все с тем же Бекингом явилась в дом Ричарда для передачи петиции. Ричард с библией в руках изобразил удивление, затем — раздумье, колебания и, только услышав угрозу, что в случае его отказа парламент «поищет короля в другом месте», ответил, наконец, согласием.

6 июля Ричард и его жена Анна были коронованы. За неделю до этого в Лондон пришли «люди Йоркшира» — на «защиту» своего герцога. По пути на юг они успели «помочь» казнить заключенных Ричардом родственников королевы: ее брата лорда Риверса и сына (от первого брака) лорда Грея.

Но летопись деяний короля Ричарда III весьма кратка. Вступив на трон, он сделал строгое внушение судьям и призвал их «беспристрастно отправлять правосудие по отношению ко всем подданным». Ричард проявил внимание к нуждам третьего сословия.

В подобной политике нет ничего демонического, как и прирожденной «испорченности». Ричард III был скорее слабым, нерешительным, нежели сильным, напористым тираном, он чаще закрывал глаза на опасности, нежели предупреждал их возникновение. Он был бесстрашен в открытой битве, но совершенно беспомощен перед скрытыми интригами и происками врагов.

Один факт безоговорочно убеждает в этом. Осенью 1483 г. был раскрыт заговор, преследовавший цель посадить на английский престол графа Ричмонда, внебрачного отпрыска Ланкастеров, которого тайно поддерживала часть старой знати. Единственным козырем его было клятвенное обещание жениться на дочери покойного Эдуарда IV, с тем чтобы, соединив обе Розы в своем гербе, положить конец кровавой междоусобице. Заговор, к всеобщему изумлению, возглавил герцог Бекингем, столь самоотверженно прокладывавший Ричарду дорогу к трону. В заговоре участвовали мать Ричмонда — леди Стенли, епископ Джон Мортон (будущий канцлер Генриха VII) и ряд других лиц.

Как же повел себя Ричард? Он ограничился казнью лишь одного действительно вероломного Бекингема. Джону Мортону, маркизу Дорсету и другим мятежникам удалось бежать во Францию, а леди Стенли, не прекращавшая плести интриги в пользу сына, была передана «под ответственность» собственного мужа, лорда Стенли, оказавшегося вскоре столь же вероломным, как и его жена. Таков исторический Ричард!

В феврале 1484 г., примирившись с Ричардом, из своего убежища вышла (с дочерьми) королева вдова Эдуарда IV. Но куда же делись ее сыновья, наследники Эдуарда, племянники Ричарда? С момента заключения в Тауэр их никто больше не видел. Что с ними произошло? Молва гласила, что они были умерщвлены коронованным дядей. Но такой акт был бы с его стороны самоубийственным. Более того, он был бы и

бессмысленным: ведь детей этих парламентский акт признал «внебрачными», и потому на «законном основании» они лишились прав на престол. Наоборот, для Ричарда было жизненно чтобы принцы оставались в живых, тем самым опровергая молву, о которой он не мог не знать. С другой стороны, как могла бы королева, их мать, примириться так скоро с Ричардом, если бы знала, что он — убийца ее сыновей. Не таков был характер этой женщины — безгранично честолюбивой, неутомимой в своих интригах, чтобы ожидать от нее подобного шага. Судьба малолетних принцев официально ни ее, ни Ричарда больше «не интересовала», она осталась одной из исторических загадок и исключительно благодарной темой для драматизации событий этого времени <sup>4</sup>.

В апреле 1484 г. неожиданно умер сын Ричарда III, наследный принц Эдуард; вместе с ним сошла в могилу надежда на создание собственной династии. Вопрос о том, кто будет преемником Ричарда, вновь встал на повестку дня, вновь замаячила угроза кровавых усобиц, от которых Англия безгранично устала. Это не могло не повлиять на стабильность режима. Шансы притаившегося в Бретани графа Ричмонда неожиданно возросли, его скрытые сторонники в самой Англии пришли в движение. В марте 1485 г. умерла жена Ричарда, королева Анна, и хотя все знавшие ее были прекрасно осведомлены, что она давно и тяжело больна туберкулезом, враги Ричарда не преминули воспользоваться ее кончиной. Они посеяли слухи, будто ее сгубил Ричард, отравив, чтобы освободиться и жениться на своей племяннице Елизавете, которую заговорщики прочили в жены Ричмонду. Дело дошло до того, что Ричарду пришлось публично отрицать подобное намерение. Между тем в Англии зрел новый заговор, направленный против Ричарда. Среди его инициаторов были лорд Стенли (второй муж матери Ричмонда, один из придворных Ричарда), его брат сэр Уильям Стенли, граф Нортемберленд и, конечно же, отпущенная под ответственность мужа леди Стенли. Враждебная паутина плелась буквально на глазах Ричарда, однако он один ничего не видел, скорее — не желал видеть. Он шел к гибели. В августе Генрих Ричмонд, будущий Генрих VII, высадился на английский берег с кораблей, снаряженных на французские деньги, в сопровождении не очень многочисленных французских наемников. Здесь под его знамя собрались остатки клики Ланкастеров. Решающая битва между Ричмондом и Ричардом состоялась 22 августа при Босворте. Как и следовало ожидать, она длилась недолго, всего два часа. Все решила измена. Силы Ричарда, находившиеся под командованием обоих Стенли, сразу же и открыто перешли на сторону Ричмонда. Что же касается Нортемберленда, то, имея под своим началом резерв Ричарда, он просто остался свидетелем событий: эти силы так и не были введены в действие. Оказавшись один с горсткой верных воинов, Ричард с криком «Измена!», «Измена!» врубился в самый центр вражеского войска и вскоре нашел свою смерть. Его труп был выставлен на поругание толпы в Лейстере. Через два дня какие-то монахи решились, наконец, предать его земле.

Судьба исторического Ричарда свидетельствовала о том, как мало значит личное мужество для короля, от которого требуется прежде всего политическая изворотливость, насколько безгранично важнее для последнего владеть искусством интриги, нежели искусством рубки мечом, насколько безопаснее сталкивать между собой врагов, нежели самому сталкиваться с ними, в особенности если неизвестно, где они скрываются. В отличие от своего брата, Эдуарда IV, который, опираясь на купечество, стал сам преуспевающим купцом, Ричард, следуя той же политике, оставался по своим повадкам, образу мыслей, вкусам вельможей, он снисходил к простолюдинам, какими богатыми они ни были бы, но не мог даже на короткое время смешаться с ними. С другой стороны, многих вельмож он отталкивал, настораживал, пугал своими жестами в сторону «мелкого люда». Отсюда неизбежная политическая изоляция Ричарда III <sup>5</sup>.

### **Как возникла легенда о Ричарде III**

Хотя отдельные элементы легенды о Ричарде стали зарождаться еще при его жизни, несомненно, полного завершения она достигла много лет спустя после его смерти. Напрасно мы стали бы рассматривать процесс ее складывания как стихийный результат слияния творений безличной фантазии. Фольклор имеет авторов, хотя и остающихся скрытыми. В данном же случае вдохновители и режиссеры этого процесса были слишком на виду, чтобы остаться неизвестными. Первые Тюдоры и их окружение — вот та среда, откуда исходили импульсы, направление и основное содержание легенды о Ричарде. Генрих VII, новый узурпатор короны, был во всех отношениях удачливее Ричарда. Он обладал как раз теми качествами, которых так недоставало последнему: изворотливым умом, мастерством скрытой интриги, дальновидностью. Если же при этом он был трусоват, непомерно скуп, предпочитал военным доспехам мирный кафтан, то это отнюдь не помешало ему стать родоначальником могущественной династии.

В плане человеческом он, конечно же, был гораздо мельче Ричарда, а жестокостью намного его превосходил: к своим жертвам он подкрадывался исподтишка и хватал их мертвой хваткой. Целые роды были вырублены под корень, конфискации владений достигли невиданных масштабов, неимоверно возросли налоги. Но «историческая память» все это обошла: ведь Генриху были обязаны своим величием и династия, и Англия.

Генрих VII короновался в Вестминстере в октябре 1485 г. Первым делом он объявил недействительным парламентский акт, которым в свое время обосновывался королевский титул Ричарда III и приказал уничтожить все существующие копии, с тем чтобы сказанное в упомянутом билле было навсегда забыто. Созванный Генрихом парламент по его требованию принял акт, обвинявший Ричарда в измене. «Таково было желание короля», — отмечает Бэкон в свой «Истории Генриха VII»<sup>6</sup>.

Затем, поскольку Йорки все еще оставались популярными в особенности на Севере страны, против них в лице Ричарда была развернута кампания очернения. Все, кто умел писать и стремился заслужить милости короля, стали ее соучастниками. Как это делалось, можно судить по сочинениям некоего Руза. Еще в правление Ричарда он составил фамильную историю графа Уорика (младшая дочь которого Анна была женой Ричарда) в двух списках — на латинском и английском языках. В английском списке, который автор, по-видимому, вскоре передал в другие руки, о Ричарде говорилось: «могущественный принц и очень добрый лорд», «наказывающий нарушителей закона, в особенности притеснителей общин, и поощряющий тех, кто показал себя добродетельным, заслуживший большую благодарность и любовь всех своих подданных, богатых и бедных, и добрую славу среди всех других народов». По-иному сложилась «судьба» Ричарда в латинском списке той же истории; который, видимо, находился в руках составителя в момент смены династии: автор на всякий случай тут же исправил текст в духе, угодном Ланкастерам. Пассаж, содержащий похвалу в адрес Ричарда, был выскоблен, вместо него появилось: «несчастный муж Анны». Руз первым упоминает о физическом уродстве Ричарда. Фабиан<sup>7</sup>, лондонский хронист, который должен был не раз видеть Ричарда собственными глазами, ничего об этом не знает. Молчит и француз де Коммин<sup>8</sup>, как и составитель так называемой Кройлендской хроники. Но Руз знал, что делал. В «Истории английских королей», посвященной Генриху VII, он дал волю фантазии. Здесь впервые появились легенды о том, что Ричард родился только после двухлетнего пребывания в лоне матери, горбатым, со всеми зубами и длинными, до плеч, волосами словом, вырожденком, от которого следовало ожидать любого преступления.

Достаточно сопоставить два описания Ричарда, сделанные одним и тем же человеком (до и после битвы при Босворте), чтобы механизм создания тюдоровской легенды о Ричарде стал абсолютно ясным. Естественно, что плодами фантазии Руза воспользовались те, кто касался этого сюжета при самом Генрихе VII и при его преемниках. Разумеется, было нелегко вытравить из памяти образ подлинного Ричарда, славившегося лояльностью, отходчивостью и т. д. Требовались время и терпение. Один за

другим сходили в могилу все, кто лично был знаком с Глостером. Появилось новое поколение, знавшее его только по преданиям, а предания, как мы видели, создавались искусно и неустанно. Наряду с протюдоровскими «историями» появились и соответствующего характера баллады. В одной из них («Песня леди Бесси») излагается история Ричарда. В ней его обвиняют в смерти племянников и жены Анны. Леди Бесси — конечно, Елизавета Вудвилл. Повторяя предшественников, каждый новый рассказчик этой истории считал необходимым внести в нее свою «лепту», дополнить новой деталью, т. е. разработать и обогатить тюдоровскую версию легенды. Уже упоминавшийся лондонский хронист Фабиан, допустивший массу ошибок в описании правления Эдуарда IV и Генриха VII (ошибки в датах, именах, в последовательности событий), знает зато нечто «новое»: оказывается сын Генриха VI Эдуард Ланкастер, был убит не в ходе сражения при Тьюксбери, а только после него (хронист, правда, не связывает данный факт с чьим-либо именем). Фабиан первым возлагает на Ричарда ответственность за расправу с Генрихом VI, ссылаясь на «общую молву». Он утверждает, что сыновей Эдуарда IV заключили в Тауэр и содержали там под строгим надзором и что они никогда уже цитадель не покидали. Опираясь опять-таки на «общую молву», он заключает, что дядя, т. е. Ричард, «тайно умертвил их».

В 1506 г. Генрих VII пригласил к себе находившегося в Англии итальянца Полидора Вергилия и, щедро одарив, предложил ему написать историю Англии («История» вышла в свет в 1536 г.). Итальянцу открыли доступ к официальным документам, которые он мог бесконтрольно подбирать и упорядочивать. Вергилий был первым, кто прямо обвинил Ричарда в убийстве Эдуарда Ланкастера. Вслед за Фабианом Вергилий утверждает, что Ричард собственноручно заколол Генриха VI, и также ссылается на «общую молву». Таким образом читателя подготавливали к тому, чтобы он уже не удивлялся кровавым деяниям Ричарда. Причем лицемерие Ричарда легко объясняло все его шаги, противоречившие «изначальному характеру»: он выражает соболезнование овдовевшей королеве — это лицемерие; он приносит присягу юному Эдуарду V — тоже лицемерие; он готовит его коронацию — опять лицемерие!

То, что оплаченный Генрихом VII историк выступил в роли «обвинителя по делу Ричарда», понятно. Естественно и то, что Генрих VII предстает в его истории юным, галантным героем, которому предназначено провидением спасти Англию от кровавого тирана.

Итак, лишь к началу XVI в. все компоненты легенды о Ричарде были налицо. Не хватало только талантливого пера, чтобы сплавить их в единое целое. И такое перо нашлось. Великий Томас Мора создал непревзойденный образец ренессансной историографии в Англии — «Историю короля Ричарда III». Написанная около 1513 г., эта «История» не только полностью выдержана в духе тюдоровской легенды о Ричарде — она завершила эту легенду, литературно оформила, вдохнула в нее жизнь. «Историю» Мора опубликовал через восемь лет после его смерти Ричард Графтон как продолжение хроники Гардинга (1543) и вторично — как часть хроники Холла (1548). Наконец, она была включена племянником Мора, Уильямом Рэтелем, в издание «Английские сочинения» Мора (1557). Хотя это двуязычное произведение Мора («История» писалась параллельно на английском и латинском языках) осталось незавершенным — изложение обрывается на беседе Бекингема с отданным Ричардом III под его надзор заговорщиком епископом Джоном Муртоном, оно не только в значительной степени определило, вплоть до наших дней, позицию научной историографии, но также — через хронику Холла — питало фантазию Шекспира, когда он создавал своего «Ричарда III». Причем речь идет и о канве событий, и о деталях портрета героя.

Литературный талант Мора подготовил драматизацию истории Ричарда: без малого треть сочинения занимают диалоги. Достоверность характеров, тонкая ирония, которая высвечивает слова и поведение действующих лиц, метафоричность речи, к которой прибегал большой мастер слова, создавший крупное прозаическое произведение,

объясняют, почему именно Мор сыграл решающую роль в закреплении тюдоровской легенды о Ричарде.

В чем же убедила современников и потомков «История» Мора? Прежде всего в том, что Ричард еще при жизни своего царствующего брата, Эдуарда IV, задумал любой ценой завладеть короной, что он был человеком невероятно скрытным, способным двигаться к цели окольными путями, мастером тонкой интриги и сразу же после получения известия о смерти Эдуарда IV решил короноваться.

Конечно, представить исторического Ричарда ангелом невозможно, но в то же время настала пора сделать демонический характер, которым наделил Ричарда III Шекспир, достоянием легенды, оставив истории образ человека импульсивного, политически недальновидного, мужественного, честолюбивого и беспощадного узурпатора, истинного сына своего жестокого века.

\* \* \*

Когда эта книга уже находилась в печати, автор получил возможность познакомиться с исследованием английского ученого А. Генхема «Ричард III и его ранние историки», опубликованным в 1975 г. Подробно проанализировав все сохранившиеся свидетельства как современников Ричарда III, так и последующих историков (в том числе сравнительно недавно введенные в научный оборот), Генхем пришел к выводу: «Максимум, что может быть с определенностью почерпнуто из свидетельств современников; относительно личности (Ричарда III), сводится к тому, что ни духовные, ни физические его особенности не заключали ничего сверх обычного, чтобы быть отмеченными серьезными историками... Это не значит, что он не был способным администратором, обладавшим многими качествами, необходимыми для успешного королевского правления... Его способности были широко известны, и, возможно, имея больше времени и счастья, он добился бы забвения его изначального вероломства» (с. 175). Поразительно, но наши выводы полностью, даже словесно, совпали. Совпали они и в оценке роли «Истории Ричарда III» Томаса Мора в создании драматизированной истории политического восхождения и падения порочной личности. Единственное, в чем мы резко разошлись, заключается в оценке роли Тюдоров и их приближенных в целенаправленном утверждении легенды о «макьявеле» Ричарде. Генхем эту роль полностью отрицает.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В истории общественной мысли уже давно замечена своеобразная регулярность: сознание одной исторической эпохи склонно рассматривать другую только как ступеньку, ведущую к ней. Однако при всей правомерности подобной познавательной позиции в ней заключена не вся истина. То, что одна историческая эпоха передает другой, далеко не исчерпывает богатства ее содержания. Равным образом то, что более поздняя эпоха заимствует у предшествующей, обычно сводится всего лишь к большему или меньшему числу элементов созданного ею целого. И это потому, что для нее речь идет о получении «строительного материала», а не готового сооружения. Сказанное полностью относится к веку, следующему за английским Возрождением, — к XVII в.

Просто поразительно, какую малую толику духовных ценностей тюдоровской эпохи сумел заимствовать пуританский XVII в. Между тем указанная эпоха — это целый мир «в себе» и «для себя». При всей мозаичности наблюдаемых в нем процессов — и прежде всего в области духовной культуры — он должен рассматриваться как единое и нерасторжимое целое, с только ему присущей системой понятий, слов-образов, шкалой значений и означенного. И нет более глубокого и тонкого знатока этого мира, более надежного руководителя для тех, кто стремится его познать, чем Уильям Шекспир,

## ПРИМЕЧАНИЯ

## Введение

- <sup>1</sup> См.: *Joseph J. Shakespeare's Eden*. London, 1970, p. 37—39.
- <sup>2</sup> *Ibid.*, p. 45 ff.; ср.: *Zeeweld W. Foundations of Tudor Policy*. London, 1948, p. 266; *Brett S. B. The Tudor Century*. London, 1962, ch. 1.
- <sup>3</sup> *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 16, с. 250.
- <sup>4</sup> См.: *Stone L. Crisis of Aristocracy*. New York, p. 1968, p. 548.
- <sup>5</sup> См.: *Joseph J.* *Op. cit.*, p. 55.
- <sup>6</sup> См.: *Бенеш О.* Искусство Северного Возрождения. М., 1973, с. 56 сл.
- <sup>7</sup> См.: *Gilmore M. P. The World of Humanism*. New York, 1952, p. 204 ff.; *Delumeau J. La civilisation de la Renaissance*. Paris, 1967, 399 sq.
- <sup>8</sup> *Caspari Fr. Humanism and Social Order in Tudor England*, Cambridge, 1954, p. 18 ff.
- <sup>9</sup> См.: *Мор Томас.* Эпиграммы. История Ричарда III. М., 1973, с. 13.
- <sup>10</sup> См.: *Осиновский И. Н.* Жизнь и творчество Томаса Мора.— В кн.: *Мор Томас. Эпиграммы...*, с. 166 сл.
- <sup>11</sup> Отзвуки этой полемики см.: *Мор Томас.* Утопия. М., 1935, с. 50 сл.
- <sup>12</sup> *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 22, с. 21.
- <sup>13</sup> Там же.
- <sup>14</sup> Там же, т. 20, с. 346.

## Глава I

- <sup>1</sup> См.: *Ribner J. English History Plays*. Princeton, 1957, p. 319 ff.; *Campbell L. Shakespeare's- Histories*. San-Marino, 1947, ch. I; *Rees M. The Cease of Majesty*. London, 1961, p. 30 ff.
- <sup>2</sup> *Holinshed's Chronicles of England...*, v. VI. London, 1807—1808, p. 4.
- <sup>3</sup> *Plutarch's Lives*. Englished by Th. Norts, v. 1. London, 1895, p. 8.
- <sup>4</sup> Цит. по: *Baker H. The Race of Time*. Toronto, 1966, p. 18.
- <sup>5</sup> *Ibid.*, 47.
- <sup>6</sup> См.: *Voltaire's Correspondence*. Th. Besterman (Ed.). Geneve, 1953, v. IV.
- <sup>7</sup> *Camden W. The History of the Princess Elizabeth*. Chicago, 1970, p. 4.
- <sup>8</sup> Цит. по: *Fussner F. S. The Historical Revolution*. London, 1362, p. 39.
- <sup>9</sup> Цит. по: *Wright L. B. Middle Class Culture*. Chapel Hill, 1935, p. 178.
- <sup>10</sup> *Peachem H. The Complete Gentleman*. Ithaca, 1962.
- <sup>11</sup> *Wright L. B.* *Op. cit.*, p. 178.
- <sup>12</sup> *Ibid.*
- <sup>13</sup> *Fussner F. S.* *Op. cit.*, p. 17 ff.
- <sup>14</sup> См.: *Sidney Ph. An Apologia for Poetrie in Elis*. *Critical Essays*, v.2. London, 1904, p. 162tf.
- <sup>15</sup> Цит. по: *Campbell L.* *Op. cit.*, p. 102.
- <sup>16</sup> *Vacon Fr. The Works*. J. Spedding (Ed.), v. VIII, p. 421.
- <sup>17</sup> См.: *Аристотель.* Поэтика, 1454в, 1459а.
- <sup>18</sup> Там же, 1459а.
- <sup>19</sup> Там же, 1454в, 1460в.
- <sup>20</sup> *Цицерон.* Диалоги. М., 1966, О законах I, 5.
- <sup>21</sup> Там же.
- <sup>22</sup> Там же.
- <sup>23</sup> Цит. по: *Ullman B, L. History and Tragedy*. — *Amer. Philol. Assoc., Tnans.*, 1942, v. 73.
- <sup>24</sup> *Quintilian.* *Institutia oratoria*, II, 4, 2—3.
- <sup>25</sup> Цит. по: *Baker H.* *Op. cit.*, p. 11.

<sup>26</sup> *Bodin J. Methodus ad facilem historiarum cognitionem. Transl. by B. Reynolds. New York, 1945, p. 66.*

<sup>27</sup> Цит. по: *Baker H. Op. cit., p. 18.*

<sup>28</sup> *Bacon Fr. Op. cit., v. XI, p. 43.*

<sup>29</sup> *Ibid., v. VIII, 421-423.*

<sup>30</sup> Тит Ливий, древнеримский историк, автор «Римской истории от основания города». Из 142 книг этого труда сохранилось 35. Первые 10 книг (декада) и комментирует Макиавелли.

<sup>31</sup> Цит. по: *Campbell L. Op. cit., p. 103.*

## Глава II

<sup>1</sup> См.: *Quinones R. J. The Renaissance Discovery of Time. New York. 1967.*

<sup>2</sup> См.: *Le Goff J. La civilization de l'Occident medieval. Paris, 1964; Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. М., 1972.*

<sup>3</sup> См.: *Le Goff J. Op. cit., p. 169.*

<sup>4</sup> См.: *Cullman O. Christ and Time. Philadelphia, 1950, p. 66.*

<sup>5</sup> См.: *Ladner G. B. Homo viator.— Speculum, 1967, v. 42, p. 244.*

<sup>6</sup> См.: См.: *Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 507.*

<sup>7</sup> Цит. по: *Cipolla. Clocks and Culture (1300 — 1706). New York, 1967, p. 11 ff.*

<sup>8</sup> См.: *Quinones R. I. Op. cit., p. 7.*

<sup>9</sup> См.: *Poulet G. Etudes sur le temps hiunain. Paris, 1950, p. 26sq.*

<sup>10</sup> См.: *Meyerhoff H. Time and Literature. Los Angeles, 1960, p. 39 ff.*

<sup>11</sup> См.: *Buckley J. H. The Triumph of Time. Cambridge, Mass., 1966, p. 8.*

<sup>12</sup> См.: *Аникст А. А. Ремесло драматурга. М., 1974, с. 94; Пинский Л. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971, с. 48.*

<sup>13</sup> *Quinones R. J. Op. cit, p. 287 ff.; Driver T. The Sense of History...; New York, 1960.*

<sup>14</sup> *Driver T. Op. cit, p. 76.*

<sup>15</sup> См.: *Buland M. The Presentation of Time in the Elizabethan Drama. New York, 1912, p. 4 ff.*

## Длительность событий в истории и в хрониках

| <i>Хроника</i>              | <i>Историческое время</i>     | <i>Сценическое время</i> |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Первая тетралогия           |                               |                          |
| «Генрих VI» (часть первая)  | Сентябрь 1422 г.— май 1443 г. | 8 дней                   |
| «Генрих VI» (часть вторая)  | Апрель 1445 г.— май 1455 г.   | 14 дней                  |
| «Генрих VI» (часть третья)  | Май 1455 г.— май 1475 г.      | 26 дней                  |
| Вторая тетралогия           |                               |                          |
| «Ричард II»                 | 1398—1400 гг.                 | 14 дней                  |
| «Генрих IV» (часть первая)  | 1402 г.— июль 1403 г.         | 10 дней                  |
| «Генрих IV» (часть вторая)  | Июль 1403 г.— апрель 1413 г.  | 9 дней                   |
| «Генрих V»                  | 1415—1420 гг.                 | 9 дней                   |
| «Король Иоанн Безземельный» | 1199—1216 гг.                 | 7 дней                   |

## Глава III

<sup>1</sup> См.: *Spalding K. J. The Philosophy of Shakespeare. London, 1953; Eckhoff L. Shakespeare Spokesman or the Third Estate. Oslo, 1954; Harbage A. Conceptions of Shakespeare. Cambridge, Mass., 1956.*

- <sup>2</sup> См.: *Brandes G.* William Shakespeare. Paris, 1896.
- <sup>3</sup> См.: *Аникст А. А.* Указ, соч., с. 393; ср.: *Шведов Ю. Ф.* Исторические хроники Шекспира. М., 1964, с. 8 сл.; *Пинский Л.* Указ. соч., с. 12 сл.
- <sup>4</sup> См.: *Bush D.* The Renaissance and English Humanism. Toronto, 1950. ,
- <sup>5</sup> См.: *Kristeller P. O.* Renaissance Thought, v. 1. New York, 1962, p. 8 ff.; *Alien S. K.* The Starr-Crossed Renaissance. Durham, 1941, eb, 1.
- <sup>6</sup> См.: *Caspari Fr.* Op. cit., p. 7 ff.; *Mazjiejq A.* Renaissance and Revolution. New York, 1965, ch. II.
- <sup>7</sup> См.: Discussion of Shakespeare's Histories. R. J. Davis (Ed.). Boston, 1966, p. 2 ff.
- <sup>8</sup> См.: *Lovejoy A.* The Great Chain of Being. Cambridge, Mass., 1957.
- <sup>9</sup> *Spenser E.* Works, v. I. Baltimor, 1943, p. 223.
- <sup>10</sup> См.: *Milton J.* Paradise Lost, II, 891—916.
- <sup>11</sup> ЦИТ. ПО: *Tillyard E.* Elizabethan World Picture. London, 1943, p. 24.
- <sup>12</sup> *Bodin J.* Six Books of the Commonwealth. London, 1924, Bk. IV, 2.
- <sup>13</sup> *Hart A.* Shakespeare and the Homiles. Melburne, 1954, p. 22—23.
- <sup>14</sup> См.: *Caspari Fr.* Op. cit., p. 11.
- <sup>15</sup> *Starkey T.* A Dialogue... London, 1948, p. 56.
- <sup>16</sup> См.: *Caspari Fr.* Op. cit, p. 11.
- <sup>17</sup> *Dudley E.* The True of Commonweals. Manchester, 1859, p. 17 ff.
- <sup>18</sup> См.: *Elyot Th.* The Boke named the Governour. London, 1883, I, 1-7, II, 17.
- <sup>19</sup> *Cheke J.* The Hurt of Sediton. — In: Holinshed. Op. cit., p. 987 ff.
- <sup>20</sup> *Hart A.* Op. cit.
- <sup>21</sup> ЦИТ. ПО: *Morris Ch.* Political Thought in England... Tyndal to Hookes. London, 1953.

#### Глава IV

- <sup>1</sup> См.: *Шведов Ю. Ф.* Исторические хроники Шекспира. М., 1964, с. 8 сл.; *Kinghorn A. M.* The Chorus of History. London, 1971, p. 39 ff.
- <sup>2</sup> См.: *Dean L. E.* Tudor Theories of History Writing. University of Michigan Contributions to Modern Philology, 1947, p. 3 ff.
- <sup>3</sup> См.: *Gilbert F.* Machiavelli and Guicchiardini. Princeton, 1965, p. 218 ff.
- <sup>4</sup> См.: *Bodin J.* Op. cit., p. 15.
- <sup>6</sup> См.: The True Order and Method of Writing and Receding Histories: H. G. Dick (Ed.).—Huntingdon Library Quart., 1940, v. III.
- <sup>6</sup> Ibid.
- <sup>7</sup> См.: *Greenlaw E. A.* Studies in Spencer's Historical Allegory. Baltimore, 1932, p. 12 if.
- <sup>8</sup> См.: *Hay Denys.* Polydor Vergil: Renaissance Historian and Man of Letters. Cambridge, 1962.
- <sup>9</sup> См.: *Zeeveld W. G.* The Influence of Hall on Shakespeare's Historical Plays. — In: English Literary History. London, 1936, p. 317.
- <sup>10</sup> Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare. Bullough Geoffrey (Ed.), v. III. London, 1960, p. 16.
- <sup>11</sup> Mirror for Magistrates. L. Campbell (Ed.). New York, 1938.
- <sup>12</sup> См.: *Smith-Fussner F.* Op. cit., p. 39 ff,
- <sup>13</sup> См.: *Campbell L.* Op. cit, p. 8 ff.; *Tillyard E. M.* Shakespeare's History Plays. London, 1956, p. 5 ff.
- <sup>14</sup> См.: Shakespeare's Histories. W. A. Armstrong (Ed.). Harmond-worth, 1972, p. 29 ff.; *Ornstain R. A.* Kingdom for a Stage. Cambridge, Mass., 1972, p. 2 ff.
- <sup>15</sup> См.: *Ornstain R.* Op, cit., p. 10 ff.
- <sup>16</sup> Ibid.

#### Глава V



- <sup>1</sup> См.: The Renaissance Philosophy of Man. E. Cassirer e. a. (Eds.). Chicago, 1948, p., 223 ff.; *Vuuyan J.* The Shakespearean Ethics. London, 1959, p. 88 ff.
- <sup>2</sup> *Пинский Л.* Реализм эпохи Возрождения. М., 1961, с. 253 сл.; *Babb L.* The Elizabethan Malady... Michigan, 1951, p. 10 ff.
- <sup>3</sup> См.: *Spenser Th.* Shakespeare and the Nature of Man. Cambridge, 1943, p. 26 ff.
- <sup>4</sup> См.: *Dodd A. H.* Life in Elizabethan England/London, 1967, p. 42ff.
- <sup>5</sup> См.: *Mackie J. D.* The Early Tudors. Oxford, 1952, 12 ff.
- <sup>6</sup> См.: *Stone L.* Social Change and Revolution. London, 1965; *Kelso R.* The Doctrine of the English Gentleman in the 16th, p. 13.
- <sup>7</sup> См.: *Hill Ch.* Change and Continuity in 17th Century England. London, 1974, p. 18 ff.
- <sup>8</sup> См.: Ibid.; *Rees M.* Op. cit, p. 211.
- <sup>9</sup> См.: *Hexter J.* The Education of Aristocrats in the Renaissance. — Journal of Modern History, 1950, v. 22, p. 30.
- <sup>10</sup> См.: *Eagleton T.* Shakespeare and Society. London, 1967, p. 11 ff.
- <sup>11</sup> См.: *Bloom A.* Shakespeare Politics. New York, 1964, ch. II.
- <sup>12</sup> См.: *Spalding K. J.* Op. cit., ch. 3.
- <sup>13</sup> См.: Ibid; *Morton A. L.* Shakespeare's Idea of History, s. 1., 1964, p. 13.
- <sup>14</sup> Certain Sermons or Homilies. London, 1864, p. 109.
- <sup>15</sup> Ibid.
- <sup>16</sup> См.: *Talbert.* The Problem of Order. Chapel Hill, 1962, p. 146 ff.
- <sup>17</sup> Ibid.
- <sup>18</sup> Ibid., p. 200 ff.
- <sup>19</sup> См.: *Greenleaf W. H.* Order, Empiricism and Politics. London, 1961, ch. 1.
- <sup>20</sup> *Montaigne M.* Essais. Paris, 1964, III, 13.
- <sup>21</sup> *McFarlan K. B.* «Bastard Feudalism». — Bull. Inst. Hist. Res., 1943— 1945, v. XX.
- <sup>22</sup> См.: *Wilson J. D.* The Fortunes of Falstaff. London, 1944.
- <sup>23</sup> См.: *Курнан В. Д.* Взаимоотношения между людьми. — В кн.: Шекспир в меняющемся мире. М., 1966, с. 104 сл.
- <sup>24</sup> *Мор Томас.* Утопия, с. 59.
- <sup>25</sup> *More Thomas.* The Dialogue Concerning Tyndale. London, 1927, p. 301.
- <sup>26</sup> Ibid., p. 272—273.
- <sup>27</sup> См.: *Аникст А. А.* Указ. соч., с. 516 сл.
- <sup>18</sup> *Tannenbaum S. A.* Shakespeare and «Sir Thomas More». London, 1929, p. 57.
- <sup>19</sup> См.: *Урнов М. В., Урнов Д. М.* Шекспир, его герой и его время. М., 1964, с. 184; *Adams R.* Design by More and Erasmus for a New Social Order. — Studies in Philology, 1945, v. 44; *Armtyage W. H. T.* Heaven Below; Utopian Experiments in England. London, ch. 1.

## Глава VI

<sup>1</sup> См.: *Praz M.* Machiavelli and the Elizabethans. London, 1928, p. 21 ff.

<sup>2</sup> См.: The Great Debate. P.M. Kendal (Ed.). New York, 1965, Introd.

<sup>3</sup> См.: *Markham C. R.* Richard the Third, His Life and His Character. New York, 1968.

<sup>4</sup> См.: *Lamb V.L.* The Betrayal of Richard III. London, 1959, p. 33 ff.

<sup>5</sup> См.: *Kendal P. M.* Richard of Third. London, 1956, p. 128 ff.

Ужасы, которые в исторической традиции связывались с войной Роз, сильно преувеличены. Так, если судить по сообщениям хронистов, легко заключить, что в войне Роз была истреблена едва ли не вся английская знать. В действительности же в усобицах были истреблены лишь два древних рода и еще пять бродов, аноблированных с 1437 г. 23 титулованных рода вымерли по мужской линии. От битвы при Сент-Олбенсе (1455) до битвы при Стоуке (1487) периоды военных действий не превышали в общей сложности 12 — 13 недель, и это за 32 года смуты! Только в битве при Таунтоне (1460) число

сражавшихся достигло 50 тыс. человек, в большинстве других битв это число не превышало нескольких сотен воинов.

<sup>6</sup> Bacon Fr. The Works, т. VI.

<sup>7</sup> Р. Фабиан автор так называемых «Новых хроник Англии и Франции» (1516).

<sup>8</sup> Филлип де Коммин — автор мемуаров, опубликованных в 1514 г. под названием «Хроника и история, содержащая события, происшедшие во время царствования короля Людовика XI и Карла VIII, за период от 1464 до 1498 г.»

В 1674 г. рабочие, занятые на земляных работах в Тауэре, на глубине 10 футов под фундаментом лестницы, ведущей в королевские апартаменты, нашли человеческие кости. Они были сброшены в кучу и пролежали здесь довольно долго, пока слух не дошел до короля Карла II, приказавшего сложить их в мраморный гроб, как «предполагаемые останки двух принцев», и захоронить в Вестминстерском аббатстве. Это распоряжение было выполнено только через четыре года. В 1933 г. после долгих просьб общественности и в результате сильного нажима властей монастырь разрешил вскрыть саркофаг. Останки были осмотрены медиком профессором Райтом. По его заключению, обнаруженные кости принадлежали двум детям (вероятнее всего, мальчикам) приблизительно 12 и 10 лет. По некоторым признакам Райт счел возможным заключить, что дети находились в родстве и были умерщвлены. Это заключение было принято научной историографией как «окончательное доказательство» в пользу тюдоровской версии о судьбе принцев. Однако историки, выступающие за глобальный пересмотр этой традиции, находят аргументы, лежащие в основе заключения Райта, легковесными. Во всяком случае тот факт, что кости обнаружили под лестницей, которая фигурирует в «Исповеди» Тирела, бросает тень на всю эту историю, ибо, будь они там в дни Генриха VII, то почему он немедленно после получения «Исповеди» не приказал перерыть фундаменты всех лестниц Тауэра, чтобы их найти? Важность этих останков для судьбы династии была слишком велика, чтобы не предпринять соответствующие поиски. Вместо этого была создана версия, согласно которой некий загадочный священник после смерти Ричарда на свой страх и риск раскопал останки принцев и их неизвестно где похоронил.

## ЛИТЕРАТУРА

- Аникст А. А. Ремесло драматурга. М., 1974.  
 Пинский Л. Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971.  
 Урнов М. В., Урнов Д. М. Шекспир, его герой, его время. М., 1969.  
 Шведов Ю. Ф. Исторические хроники Шекспира. М., 1964.  
 Шекспир в меняющемся мире. Под ред. Шведова Ю. Ф. М., 1966.  
 Шекспировские сборники. М., 1947, 1958, 1961, 1967.  
 Bush D. The Renaissance and English Humanism. Toronto, 1939.  
 Bush G. Shakespeare and the Natural Condition. Cambridge, 1956.  
 Campbell L. Shakespeare's Histories... San-Marino, 1947.  
 Cassirer et al. (Ed.). The Renaissance Philosophy of Man. Chicago, 1948.  
 Eagleton T. Shakespeare and Society. London, 1967.  
 Ferguson W. The Renaissance in Historical Thought. Boston, 1948.  
 Fraser R. The Dark Ages and the Age of Gold. Princeton, 1973.  
 Fassner F. S. The Historical Revolution... London, 1962.  
 Hay D. Polidor Vergil. Renaissance' Historian. Oxford, 1952.  
 Haydon H. The Counter-Renaissance. New York, 1950.  
 Holzknacht K. The Background of Shakespeare's plays (2 ed.). New York, 1950.  
 Joseph J. Shakespeare's Eden. London, 1970.  
 Kristeller P. Renaissance Thought. New York, 1961.  
 Levin H. Shakespeare and the Revolution of Times. New York, 1976.  
 Levy F. Tudor Historical Thought. San-Marino, 1967.

- Lewis A.* Aspects of Renaissance. London, 1967.
1973. *Manheim M.* The Weak King Dilemma in the Shakespearean History Plays. New York, 1973.
- Muir K.* The Sources of Shakespeare's Plays. London, 1977.
- New York, 1966. From the Renaissance to the Counter-Reformation. Essays in Honour of G. Mattingly.
- Palmer J.* Political Characters of Shakespeare. London, 1945.
- Panofsky E.* Renaissance and Renaissance in Western Art. Stockholm, 1961.
1973. *Prior M. E.* The Drama of Power. Studies in Shakespeare's History Plays. Evanston, 1973.
- Rees A.* The Cease of Majesty. London, 1981.
- Ribner J.* The English Historical Plays in the Age of Shakespeare. Princeton, 1957.
- Richmond H.* Shakespeare's Political Plays. New York, 1967.
- Rogers W.* Shakespeare and English History. Totowa, 1966.
- Rossiter W.* The English Drama from Early Times. London, 1950.
- Russel J.* Shakespeare's Century. London, 1942.
- Satin J.* Shakespeare and His Sources. Boston, 1966.
- Sen-Gupta S.* Shakespeare's Historical Plays. London, 1961.
- Spalding R.* The Philosophy of Shakespeare. Oxford, 1953.
- Stevenson R.* Shakespeare's Religion Frontier. Le Hague, 1958.
- Straus L.* Natural Right and History. Chicago, 1953.
- Tillyard E.* Shakespeare's History Plays. New York, 1946.
- The Elizabethan World Picture. London, 1948.
- Vyuyan J.* The Shakespearean Ethics. London, 1959.
- Waller G. F.* The Strong Necessity of Time. The Hague, 1976.
- Weinmann R.* Theater und Gesellschaft. Berlin, 1970.
- Wilson I.* Life in Shakespeare's England. New York, 1944.
- Uhlig C.* Traditionelle Denkformen in Shakespeare's Kunst, Hamburg, 1967.